





Д. АРУШАЯНЦ.

Солдаты.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



4 {227}
АПРЕЛЬ
1974

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Меня приняли
в комсомол!

Дорогая «Юность»! Я никогда не писала тебе, это мое первое письмо. Пишу потому, что не могу не писать: переполнена радостью и гордостью. Пишу тебе и потому, что ты мой любимый друг и советчик уже давно.

Я хочу поделиться с тобой самым важным для меня событием в жизни — меня приняли в комсомол!

Мне уже 16, но я не стыжусь, что так поздно (многие мои одноклассники приколоты на грудь комсомольский значок еще в 7-м классе) встала в ряды комсомола. Мой дед — комсомолец 20-х годов, отец — комсомолец военных лет. Вступая в комсомол, они знали и видели свою цель.

Теперь я ее вижу тоже. Раньше — нет. Так имела ли я право встать под гордое знамя, которое так высоко несли наши деды и отцы?

А теперь поняла, почувствовала, что иначе нельзя. По-настоящему прочувствовала те слова, которые пишу тебе в заявлении: «Хочу быть в первых рядах тех, кто строит коммунизм, продолжать дело отцов и дедов». Когда брала бланк заявления, рука дрогнула — достойна ли? А на комитете, в райкоме поняла: только здесь мое место, здесь, плечом к плечу с миллионами других советских девушек и юношей, в несокрушимо твердой армии молодых бойцов. В рядах той армии, в которой сражались Паека Корчагин, строители Днепротреста и Комсомольска-на-Амуре, Зоя Космодемьянская, молодоговардейцы, молодые целлинники. Много горячих комсомольских сердец пробили пули врагов, много гордых комсомольских имен вписано золотыми буквами в историю нашей Родины. Нам не страшно ставить в один строй с героями, мы знаем: наше место рядом с ними, мы их смена. На место павших встанут новые бойцы.

Нас, комсомольцев, — армия; партия — наш командир. Она вела молодежь на штурм Зимнего, в атаку на белогвардейцев, в бой за Мясную, на озерно-затопляющие пулеметными очередями рейхстаг, на целину и новостройки Сибири. Это партия устами великого Ленина говорила с нами на III съезде РКСМ.

В восемнадцатом году нас было несколько тысяч, сейчас нас около тридцати двух миллионов, мы

огромная армия, подразделения которой разбросаны по всей стране.

Раз в четыре года лучшие из лучших комсомольцев собираются на свой совет — съезд, и посылают их туда мы.

Шестнадцать раз уже собирались они на такие съезды. Соберутся на свой совет и в семнадцатый раз 23 апреля этого года.

Это первый съезд, который я встречаю комсомольской, и он будет таким же знаменательным, как и те, которые были до него. Ведь он соберется в определяющий год пятилетки!

Снова наши вожаки наметят направление сегодняшнего главного удара, а вернувшись со съезда, расскажут нам о задачах, которые ставят партия перед нами, ее молодыми помощниками.

Я знаю: мои товарищи-комсомольцы, несущие свою трудовую вахту на полях, на заводах, те, кто непосредственно участвует в строительстве коммунизма, берут на себя социалистические обязательства работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

Моя трудовая вахта в школе. Ленин говорил, что самая главная задача молодежи — учиться. Я не буду кривить душой и обещать: «Буду учиться только на круглые пятерки!» По всем предметам не смогу. Но у каждого человека есть заветная мечта. Есть она и у меня. Она пока далека и трудна, и я обещаю «Юности»: сделаю все, чтобы моя мечта стала явью. Мечта не бывает простой и легкой. Тогда она не была бы мечтой.

Но у нас у всех есть и общая мечта, заветная цель. Мы стремимся к ней и не боимся, что будет трудно. Борьба не закончена, сегодня наш народ берет новые высоты, в этой борьбе и мы. И мы не ищем и не хотим покоя.

И даже тогда, когда свершится мечта человечества и коммунизм будет построен, мы все равно не успокоимся, мы будем стремиться вперед, потому что мы комсомольцы.

Вот и все, о чем я хотела написать тебе, «Юность». Просто поделиться своими мыслями. А причиной этому маленький красивый значок с золотым профилем Ленина.

Марина КАСИМОВА

Москва.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
отвечает
Марине Касимовой

ВАШ ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОРИЕНТИР

Марина! С волнением, радостью и гордостью прочитал твое искреннее письмо. Уверен, что чувства и мысли, выраженные в нем, разделяют миллионы твоих сверстников. Духовный мир юношей и девушек формируется под влиянием нашей советской действительности, школы, семьи, под воздействием примера старших. В комсомол их приводит искреннее стремление быть полезным Родине, партии.

Для каждого поколения приходит тот час, когда оно с особой силой ощущает свою причастность к судьбам Родины. Вступление в комсомол означает для юношей и девушек, что настало время взрослеть и мужать, встать в общий строй активных борцов за коммунизм.

Стремление отстоять и приумножить завоевания революции вело в комсомольские ряды молодежь двадцатых, тридцатых годов. Вместе с комсомольским билетом, вспоминал Николай Островский, юноши и девушки получали винтовку, двести патронов и уходили на фронты гражданской войны. Став комсомольцами, молодые труженики вместе с коммунистами превращали ленинскую мечту в социалистическую действительность, отправлялись к днепровским кручам, в степи Зауралья, в дальневосточную тайгу, туда, где выросли потом первенцы нашей индустрии — Днепрогэс и Магнитка, «Уралмаш» и Сталинградский тракторный, Кузнецк и Комсомольск-на-Амуре, они отправлялись на строительство Московского метро.

Перед самым тяжелым боем с белофиннами молодой красноармеец Юрий Никулин, ныне всемирно известный народный артист СССР, в заявлении писал: «Если погибну, прошу считать комсомольцем».

В суровые годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу в комсомол вступило около 12 миллионов человек. Это ли не лучшее доказательство стремления молодежи быть на переднем крае огня, стать гвардейцами тыла?

Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Саша Чекалин, Александр Матросов, Юрий Смирнов, Николай Гастелло, Марите Мельникайте, молодого гвардейцы... Достаточно назвать эти имена, и перед нами во всем величии встает беспримерный подвиг комсомольцев, советской молодежи в дни тяжелейших испытаний.

Уходя в атаку, Винцас Даукантас в своем комсомольском билете написал: «Клянусь тебе, мой комсомольский билет, драться до тех пор, пока будет биться мое сердце, безжалостно мстить гитлеровцам за кровь, муки и унижение наших братьев и сестер. Если погибну в бою и ты будешь облит моею кровью, будь свидетелем, что я честно сдержал свою клятву».

В послевоенный период комсомольцы восстанавливали разрушенное войной хозяйство, поднимали целину. Олицетворением нового поколения молодежи, взращенного партией, стал выдающийся сын нашей Родины, воспитанник Ленинского комсомола, молодой коммунист, легендарный Юрий Гагарин.

Комсомол — авангард советской молодежи, надежный резерв и боевой помощник Коммунистической партии. Вступая в его ряды, юноши и девушки берут на себя обязанность быть на переднем крае всенародной борьбы за претворение в жизнь предначертаний партии. Комсомол сегодня — это труженик в рабочей спецовке, механизатор и хлебороб, молодой ученый и инженер, воин Советской Армии, писатель и педагог, студент и школьник. Это тридцать три миллиона единомышленников, обретающих гражданскую и политическую зрелость в буднях девятих пятилетки.

Годы юности — это годы поиска призвания, своего места в жизни. Юношам и девушкам нашей страны свойственно стремление к самостоятельности, желание самоутвердиться, проверить свои силы и способности. И партия, комсомол открывают широкие возможности и перспективы для активного действия каждого, для проявления инициативы, творчества.

Комсомол свято хранит верность революционным, боевым и трудовым традициям партии и советского народа. В сердцах и делах комсомольцев, всей молодежи живут подвиги отцов и старших братьев, свершенные на фронтах войны, на стройках первых пятилеток. Юность страны счастлива быть продолжателем великого революционного дела. Подлинную школу жизни и борьбы молодое поколение нашей страны проходит сегодня на комсомольских ударных, в цехах заводов и фабрик, на колхозных и совхозных полях, в научных и студенческих лабораториях — там, где проходит передний край созидания коммунизма.

Это КамАЗ и Усть-Илим, новостройки Сибири и Дальнего Востока, Севера, бескрайние поля нашей Родины, нефтяная и газовая целина Тюмени...

Сегодня всходу нужны энергичные молодые руки, задор и оптимизм, пылливость и новаторство. В характере комсомольцев наших дней та же революционная страстность и твердость воли, та же беззаветная преданность делу партии. Молодой герой нашего времени — человек высоких политических и моральных качеств, неутомимый труженик, советский патриот, пролетарский интернационалист.

Герои нашего времени — рязанский комсомолец Анатолий Мерзлов, сплывший от огня хлеб ценой своей собственной жизни, новосибирский школьник, делегат XVII съезда ВЛКСМ Михаил Маршук, проявивший мужество и героизм на своем посту у священного Вечного огня.

Герои нашего времени — Сергей Агапов, слесарь-сборщик Кировского завода, лауреат премии Ленинского комсомола, выполнивший свою личную пятилетку в марте прошлого года, Герои Социалистического Труда свекловод Устинья Лендужная и чаевод Кетеван Гогитидзе, прославленная гимнастка Людмила Турчишева, полтавская школьница Александра Гусак, бригадир ученической производственной бригады, награжденная орденом «Знак Почета», Надежда Павлова, ставшая обладательницей высшей награды международного конкурса артистов балета. Такие люди — гордость и слава комсомола.

Сердцем восприняли юноши и девушки слова Обращения Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу. 48 миллионов молодых строителей коммунизма приняли участие во Всесоюзном комсомольском собрании «Ударным трудом и отличной учебой ознаменуем определяющий год пятилетки». Ответ молодежи на призыв партии — это вдохновенный творческий труд на всех участках коммунистического строительства. Уже сегодня более десяти тысяч молодых рабочих, триста молодежных коллективов выполнили задания девятой пятилетки.

Каждый день в комсомольские ряды приходят новые и новые тысячи. Свыше 17 миллионов юношей и девушек вступили в комсомол после XVI съезда ВЛКСМ. Это — замечательное пополнение. Среди них — молодые труженики промышленности и сельского хозяйства, молодые специалисты, работники науки, культуры и искусства. Мы верим, что они приумножат славные традиции рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, посвятят свой ударный труд, мастерство и поиск делу успешного выполнения заданий пятилетки, внесут свой вклад в развитие науки и техники, создадут яркие образы своих современников.

В комсомольском пополнении — большой отряд учащихся школ и профессионально-технических

училищ. Мы желаем им хорошо и отлично учиться, всегда помнить, что знания, высокое профессиональное мастерство — это наши завтрашние успехи, это фундамент новых трудовых побед, научных открытий, смелых технических решений.

Дорогие друзья!

К вам обращен мудрый завет великого Ленина «Учиться коммунизму». Изучая ленинское наследие, проникаясь глубиной «мыслей, дел и слов Ильича», участвуя в Ленинском зачете, воспитывайте в себе качества активиста-общественника, стремящегося постоянно приносить радость людям. Учитесь у ваших отцов и матерей — коммунистов, у ваших старших сестер и братьев — комсомольцев принципиальности, настойчивости в достижении цели. К каждому из вас обращается Центральный Комитет нашей партии, выражая уверенность, что «молодежь с новой силой подтвердит свою верность ленинским заветам, делу Коммунистической партии, ознаменует четвертый год пятилетки ударным трудом и отличной учебой».

Ваш комсомольский билет — это мандат на право быть там, где трудно, где нужно, подчинять свою жизнь интересам народа, делу родной партии.

Сегодня Ленинский комсомол, вся советская молодежь готовятся к знаменательным событиям в своей жизни — XVII съезду ВЛКСМ и 50-летию со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Эта подготовка — боевой смотр наших рядов, экзамен на политическую зрелость, верность ленинским заветам, на преданность коммунистическим идеалам.

Выступая на торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев говорил: «Комсомольца — такая это замечательная политическая школа! Как много она дала всем нам! Сколько активных борцов за дело коммунизма, сколько знаменитых на всю страну мастеров индустриального и сельскохозяйственного труда, сколько видных деятелей нашей партии и государства, выдающихся ученых, конструкторов, полководцев, корифеев литературы и искусства вышло из комсомольской школы! И сейчас, когда наш комсомол празднует свой полувековой юбилей, мы все говорим ему с волнением в сердце: спасибо тебе, славное знамя нашей боевой юности! Спасибо тебе, вечно бурлящий революционным энтузиазмом, задором новаторства, беззаветной энергией юности союз молодых ленинцев!»

Пусть каждый, вступивший в комсомол, пройдет эту замечательную политическую школу, школу коммунизма.

Пусть девиз «Учиться, работать и бороться по Ленину» будет главным жизненным ориентиром каждого комсомольца, каждого юноши и девушки.

Роберт Рождественский



Мотив

Утро проползло по крышам,
все дома позолотил...
Первое,

что я услышал
при рождении,
был мотив.

То ли древний,
то ли новый,
он в ушах моих крепчал
и какой-то долгой нотой
суть мою
обозначал.
Он меня за сердце тронул,
он неповторимым был.
Я его услышал.

Вздригнул.

Засмеялся

и —

забыл!..

И теперь никак не вспомню.
И от этого грущу...

С той поры,

как ветра в поле,
я всю жизнь
мотив ищу.

На зимовье стыну лютом,
охою на вираже.
И прислушиваясь к людям,
к птицам,
к собственной душе.
К голосам зари багряным,
к гулу с четырех сторон.
Чувствую,

что где-то рядом,
где-то очень близко
он!..

Зябкий, будто небо в звездах,
неприступный, как редут.
Ускользающий,

как воздух.

Убегающий,

как ртуть.

Плеск оркестров.

Шорох санный.

Звон бокалов.

Звон реторт...

Вот он!

Вроде бы тот самый!
Вроде бы.
А все ж не тот!
Тот я сразу же узнаю.
За собою позову...

Вот живу и вспоминаю...
Может,
этим и живу.



Все хочу я увидеть.

Хочу испытать.

Все, кроме смерти.
И услышать все шепоты мира
и все его грохоты.

Но даже и то, что небесный Госплан
отпустил мне по смете,

я честно приму.

И вместе с друзьями

потрачу до крохотки...

Все желанья могут исполниться,
кроме самого яркого —
колеса машины времени
ржавеют — несмазанным...

А мне б

откусить

от того матросского «яблочка»!

А мне бы

почуять
рукопожатие товарища «маузера»!..

Это вовсе не кровь,

это время в жилах играет.

Пусть потом разберутся,

кто гений,

кто трус,

кто воин.

Ведь не тогда человек умирает,

когда умирает.

А тогда, когда говорит:

«Я собой доволен...»

Я собой доволен...

И можно готовить деньги,
заказывать место на кладбище
и траурный выезд...

А в соседнем сквере

«удахнут хорошо одетые дети.

И не знают еще,

что им досталась эпоха —

на вырост!

Мы об этом тоже не знали.

Мы не верили, что состаримся.

И что однажды

на сердце у каждого

никогда не бывает Счастье

конечной станцией!..

...Потому-то и кружится этот мир.

Потому он и движется.

Альенде

Молчит убийца в генеральском чине.

Блестят штаны воинского парада.

На карте

узкая полоска Чили

кровоточит,

как сабельная рана.

Уходит человек
в века и в песню...
О, как они убить его спешили!
О, как хотели —
«при попытке к бегству»!..
Его убили
при попытке к жизни.

Барселонский рынок

Час домашних хозяек
вступает в права.
Час
торговок озябших.
Время
их торжества.
Круговая порука.
Смешенье эпох...
Здесь любая старуха
считает, как бог.
И блюдет одаренно
интересы свои,
как посол
отдаленной
суверенной семьи...
Час
приветствий почетных
на всех языках.
Час подсчетов.
Подсчетов
до боли в висках!
Час проклятий плаксивых.
И боньбы.
И вранья.
[Может, после
«спасибо»
все же скажут мужья!..]
Выбор
мяса для супа —
основа основ.
И тяжелая сумка,
как собака у ног...
Поле славы и брани.
Схватка
судеб и цен.
Весь базар —
будто странный
вычислительный центр.

Две песни моего друга

1
Чай возник из блюда.
Мир из хаоса возник.
Дождь — из тучи.
А из утра — полдень...
Ах, как много в жизни мы читаем разных
книг!
Ах, как мало
в результате помним!..
Вот она — река,
да нечем горло промочить.
Что-нибудь от этого случится...
Ах, как нам приятно
окружающих учить!
Ах, как стыдно
нам самим учиться!..
Глупые раздумья можно шляпою прикрыть,
отразиться
в зеркалах и в лужах...

Ах, как хорошо мы
научились говорить!
Ах, как плохо
научились слушать!..
Истину доказываем, плача и хрипя.
Общими болезнями болеем...
Ах, как замечательно
жалеем мы себя!
Ах, как плохо
мы других жалеем!

2

Снова сердце бьется шибче молодого
на пределе современных скоростей.
Только жалко,
что для этого мотора
не нашли пока что
запасных частей.
Может быть, достичь мы все-таки
сумсем,
знаменитый доктор
скажет, как споет:
«А давайте —
для начала —
сердце сменим!
Ваше, старое,
от жизни отстает...»
Может, так оно когда-нибудь и станет.
Может, так оно и будет.
А пока
люди ходят по планете.
И мечтают.
И стареют.
И глядят на облака.
Задыхаются от горя и от счастья.
О бессмертье меж собой не говорят...
А хорошие сердца
болеют чаще.
За себя и за других
они болят.



Надо ж, почувдилось.
Эка нелепость!
Глупость какая!..
Два Дед-Мороза
сидятся в троллейбус.
Оба —
с мешками...
Рядышком
в нимбе из снежного пара
с удалью злою
Баба-Яга посреди тротуара
машет метлою.
На горы
с видом таинственно-мудрым
песут трамвай...
Кто-то сказал,
что в кондитерской утром
сказку давали...
Вечер,
заполненный чудесами,
призрачно длится.
Красная шапочка
ждет под часами
звездного принца...
И, желваки обозначив на скулах,
выкушат водки,
ходят
в дубленых овечьих шкурах
серые волки.

Все начинается с любви...

Твердят:
«Вначале

было

слово...»

А я провозглашаю снова:

Все начинается

с любви!..

Все начинается с любви:

и озаренье,

и работа,

глаза цветов,

глаза ребенка —

все начинается с любви.

Все начинается с любви.

С любви!

Я это точно знаю.

Все,

даже ненависть —

родная

и вечная

сестра любви.

Все начинается с любви:

мечта и страх,

вино и порох.

Трагедия,

тоска

и подвиг —

все начинается с любви...

Весна шепнет тебе:

«Живи...»

И ты от шепота качнешься.

И выпрямишься.

И начнешься.

Все начинается с любви.

Баллада о телефонных звонках

*Центропункт — диспетчерская
городской медицинской службы*

Наверное, похожи номера.

А может,

техники недосмотрели.

Но только незадолго до утра

я был разбужен

телефонной трелью...

— Скажите, это центропункт!

Алло!..

Алло!.

[Я трубку вешаю в молчанье.

Я даже не могу ответить зло.

Я сплю.

Я ничего не отвечаю...]

Звонок, и все сначала:

— Центропункт!

Опять ошибка!

Это невозможно!..

Сна не было уже.

А был испуг

пред всем, что непонятно

и тревожно...

Звонки ломились,

будто в дверь — плечом.

Как настоящий ветер —

в сновиденья...

— Аппендицит!..

— Да я-то тут при чем!!.

— Потеря крови!..

— У кого потеря!!.

По комнате шаталась темнота,

она была пугающе громадна...

— Ранение в районе живота!..

— Алло!

Необходим реаниматор!..

[Валилась трубка

из дрожащих рук.]

— Открытый перелом!..

Нужна машина...

...Да погоди, не горячись.

А вдруг

все правильно.

И это не ошибка.

Тебе поверили.

Тебя нашли.

Узнали номер.

Выяснили имя...

Ты ж сам кричал,

что боли всей Земли

отныне станут

навсегда твоими!..

Что ж, если так,

то слово за тобой.

Барахтайся в нестихотворных темах.

Она тебя зовет —

чужая боль.

Реальная.

Людская.

Без подделок...

Скажи, что повзрослел.

Что не здоров.

Давнишнюю строку

возьми обратно...

Но я бужу

знакомых докторов.

Я что-то объясняю им

невнятно.

И останься

в гудящей тишине.

И чувственную катанутые нити...

Все правильно.

Все так.

Звоните мне!

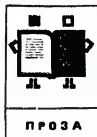
Ошибки нет.

Звоните мне!

Звоните!



Анатолий
АЛЕКСИН



ПОВЕСТЬ

ПОЗАВЧЕРА И ПОСЛЕЗАВТРА

I

— Я хочу, чтобы ты не повторял в жизни моих ошибок! — часто говорит мама.

Но чтобы не повторять ее ошибок, я должен знать, в чем именно они заключаются. И мама мне регулярно об этом рассказывает.

Об одной маминой ошибке мне известно особенно хорошо. Я знаю, что мама «погибла для большого искусства». Зато в «малом искусстве» она проявила себя замечательно!

«Малым искусством» я называю самодеятельность. Папа спорит со мной. — Нет больших ролей и нет маленьких! Так утверждал Станиславский. И ты не можешь к нему не прислушаться, — сказал как-то папа. — В Москве, рядом с Большим театром, находится Малый. Но он так называется вовсе не потому, что хуже Большого.

— Но ведь мама сама говорит, что погибла для большого искусства, — возразил я.

— Она имеет право так говорить, а ты нет. Искусство — это искусство. И талант — это талант!

Папа считает, что почти все люди на свете талантливы. В той или иной степени... Все, кроме него. Но особенно талантлива мама!

С годами я понял, что в «малом искусстве» можно проявить себя гораздо полнее и ярче, чем в «большом». Ну, например, профессиональные драматические артисты — это драматические артисты, и все. Мама же успела проявить себя и в драматическом кружке, и в хоровом, и даже в литературном.

Иногда, после самодеятельного концерта, мама спрашивает отца, что ему больше всего понравилось. Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, потому что у папы нет слуха. Все песни он исполняет на один и тот же мотив.

У нас дома никогда и ничего не запирают на ключ. Ничего, кроме ящика, в котором папа хранит альбомы. «Мама в ролях» — написано на одной обложке. «Мама поет» — написано на другой. «Мама в поэзии» — написано на третьей.

Рисунки
Валерия
КРАСНОВОСНОГО

9

Мы довольно часто переезжаем из города в город. Потому что папа—строитель, он «наращивает мощности» разных заводов. Мы приезжаем, наращиваем и едем дальше.

Но прежде чем переезжать на новое место, папа обязательно узнает, есть ли там клуб или Дом культуры. Когда выясняется, что есть, он говорит: — Можем ехать!..

Переезжать с места на место—нелегкое дело. Но мама делает вид, что это очень приятно.

— Видишь, там есть хоровой коллектив, — сказала она однажды папе. — А я так давно не пою!

— Кто виноват, что я умею делать только то, что я делаю? — словно бы извинился отец.

— Путешествовать гораздо лучше, чем сидеть на одном месте, — сказала мама. — Об этом пишут в стихах и поют в песнях.

И хоть папа прекрасно знал, что мама успокаивает его, он поверил стихам и песням.

Вот уже около трех с половиной лет мы живем в большом городе, где папа наращивает мощности металлургического завода. Прежде чем переехать, он, как всегда, навел справки насчет Дома культуры. И выяснил, что при нем активно работают все кружки, какие только существуют на свете. И что «детская работа» там тоже прекрасно налажена.

— Я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку и приобщился к миру прекрасного слишком поздно, — сказала мне мама. — Пора!.. Что ты предпочитаешь: пенные или танцы?

Я выбрал пенные.

Через несколько дней после приезда мама повела меня в Дом культуры строителей. Предварительно мы узнали, что дирижирует хором «замечательный педагог, которого зовут Виктором Макаровичем».

В большой комнате, на дверях которой было написано «Малый зал», мы увидели девочку. Положив на черную-пречерную крышку рояля ноты, она что-то тихонько мурлыкала.

— Где найти руководителя хора? — спросила мама. Девочка захопнула ноты, и я прочел на обложке: «Иоганн Себастьян Бах». — Они поют Баха! — успела шепнуть мне мама. И спросила: — Где найти Виктора Макаровича? Вы нам не подскажете?

Девочку, которая общалась с Бахом, мама назвала на «вы».

— Он в коридоре, — ответила девочка. — Идемте... Я вас провожу.

Мы вышли в коридор, увешанный фотографиями. На стенах пели, плясали, изображали купцов из пьесы Островского.

Мама оглядывала Дом культуры так, как, наверное, опытный морской волк, повидавший на своем веку много разных кораблей, осматривает новое судно, на котором ему придется плавать.

Я чувствовал, что мама боролась с собой. Ей не хотелось ничему удивляться, потому что опытные морские волки не удивляются. Но в то же время она хотела заразить меня своей любовью к самодельному искусству и потому время от времени похлопывала Дом культуры строителей по плечу:

— Интересно... Это они молодцы! Неплохо придумали.

Девочка с Бахом под мышкой завернула за угол, где была как бы окраина коридора, заканчивавшаяся двумя туалетными комнатами.

— Вон он, — сказала девочка. — Пригасил..

Худощавый, седой человек перепрыгнул через одного мальчишку, пригнувшего спину, и сел на спину второму. Тот поднялся, а человек пригнулся и встал на его место.

— Что это... он делает? — спросила мама.

— Играет в чехарду, — объяснила девочка. И, прижав к себе «Иоганна Себастьяна», ушла.

Мы подошли к невысокому пожилому человеку, через которого в этот момент перепрыгивали. Лицо у него было такое, будто он занимался своим самым любимым делом.

— Простите, пожалуйста... Вы Виктор Макарович? — неуверенно спросила мама.

Все еще пригнувшись, он взглянул на нее снизу вверх.

— Да, это я. У нас тут... разминка.

— Я понимаю, — сказала мама, будто все знакомые ей дирижеры любили играть в чехарду. — Мой сын хотел бы записаться к вам в хор.

— Прекрасно! — воскликнул Виктор Макарович, точно я был знаменитым певцом и он давно уже ждал моего прихода. Потом, приняв нормальную позу, он спросил: — Как тебя зовут?

— Миша Кутусов...

— Прекрасно! — воскликнул Виктор Макарович. И вдруг как-то смутился, стал заправлять в брюки рубашку, которая вылезла оттуда, когда он прыгал.

Мы с мамой оглянулись и увидели строгую женщину, с очень молодыми и красивыми волосами. Густые, нежного вьющиеся, они были собраны в тяжелый пучок.

Есть лица, которые совсем не напоминают о своем прошлом. А это как бы все время напоминало.

— Не пора ли нам начинать? — спросила женщину.

И я сразу понял, что она тоже дирижирует — всем хором или одним только Виктором Макаровичем. Точно я в первый момент определить не сумел.

Почувствовав это, Виктор Макарович сообщил: — Наш аккомпаниатор и дирижер! Маргарита Васильевна...

— Второй дирижер, — пояснила она. Слово хотела сказать: «Не нужно преувеличивать мои звания, потому что не в званиях дело!»

— А вот Миша хочет записаться в наш хор, — сказал ей Виктор Макарович.

В отличие от него Маргарита Васильевна не воскликнула, что это прекрасно. Она удивленно спросила:

— Сейчас?! В часы репетиций?

— Но ведь нам же нетрудно его послушать? Остальные пусть еще отдохнут.

— Ну, если вы так считаете...

Маргарита Васильевна повернулась, и пошла к Малому залу. Виктор Макарович догнал ее и стал на ходу не то извиняться, не то что-то доказывать. При этом он тайком, у нее за спиной, несколько раз махнул нам: дескать, не отставайте!

Мы вошли в Малый зал.

— Возьми себя в руки, — шепнула мама.

И мне показалось, что я потерял роль.

Маргарита Васильевна села за рояль, который блестел, как черное зеркало. В его крышке я увидел свое лицо и лицо Виктора Макаровича. Мама стояла чуть-чуть в стороне, подчеркивая этим, что она меня только сопровождает.

Я подумал, что роль в таком блестящем порядке, потому что за ним следит Маргарита Васильевна, у которой все было в порядке: и руки, и платье, и волосы.

— Значит, ты у нас Миша? — сказал Виктор Макарович.

— Миша Кутусов.

— Прекрасно! Почти Кутусов!..

Я и сам не раз думал, что фамилия наша когда-то

была Кутузов, но папа или какой-нибудь его предок (такой же, как он!) из скромности изменил пятую букву.

— Спой что-нибудь, Миша,— сказал Виктор Макарович.

Мама предупредила, что я должен буду повторять за руководителем хора разные музыкальные фразы. Но он попросил меня спеть.

— Он дома так часто поет! — сообщила мама. Хотя в действительности у нас дома пела только она.

— А что ты любишь петь больше всего? — спросил Виктор Макарович.

— Больше всего? — повторила мама. — Из классики? Или из современного? Он поет и то и другое. Накануне мы отпелировали любимую мамину песню «Аист» и песенку мальчиков из «Пиковой дамы».

— Спой что-нибудь из Чайковского, — предложила мне мама таким тоном, словно мне ничего не стоило спеть что-нибудь и из Шуберта, и из Муссорского, и из Римского-Корсакова. — Ну вот хотя бы из «Пиковой дамы!» Песенку мальчиков.

Маргарита Васильевна, казалось, только и ждала этой фразы: она сразу ударила по клавишам. Я запел... И тут же остановился.

— Лучше по аиста, — возразил я.

Маргарита Васильевна, не дав мне опомниться, сразу же заиграла. У меня хватило духу на первый куплет.

— Может быть, лучше без аккомпанемента? — точно извиняясь перед Маргаритой Васильевной, предложил дирижер хора.

— Как вам будет угодно, — сказала она.

Я понял, что без аккомпанемента мой голос будет совсем уж беззащитным и одиноким. Со страху я громко, будто конференс, объявил:

— Бизе! Детская песенка из оперы «Кармен»!

Эту песенку мы как-то разучивали на уроке пения в школе.

— Правильно! — воскликнул Виктор Макарович. — Оперу «Кармен» написал Жорж Бизе. — И, обратившись к Маргарите Васильевне, добавил: — Он любит музыку!

Она негромко хлопнула крышкой рояля, словно поставила точку.

— Мы с вами никогда не обманываем детей, Виктор Макарович. У мальчика нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма!

«Весь в отца!» — сказал я себе.

Повернувшись к маме, Маргарита Васильевна повторила:

— Ни голоса и ни слуха! Но от этого не умирают. Мама зьяла меня под руку и гордо выпрямилась.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, — поспешил успокоить ее Виктор Макарович. — Голос у него, безусловно, есть...

— Голос и слух есть у каждого человека. Кроме, конечно, глухонемых! — объяснила Маргарита Васильевна.

Мама опять выпрямилась.

Виктор Макарович остановил ее: кажется, ему не хотелось со мной расставаться.

— А ну-ка, произнеси еще раз «Бизе!» И так далее...

Я произнес.

Виктор Макарович победоносно взглянул на свою помощницу:

— Слыхали! А вы говорите: «Нет голоса». Нам ведь нужен ведущий программу — мальчик с открытым и приятным лицом!

Мама застегнула мою куртку на все пуговицы.

— Вы согласны, кажется, он стал ведущим? — спросил Виктор Макарович.

— Ведущим? Согласна, — ответила мама.

Сама она на следующий день записалась в литературный кружок, поскольку в тот период сочиняла стихи.

2

По профессии мама — бухгалтер. И не простой бухгалтер, а главный! Слово «бухгалтер» маме не нравится, и она называет себя «финансистом».

— Мама — талантливый финансист! — говорит папа.

Очень давно — кажется, до моего появления на свет — кто-то сказал о маме: «Финансы поют романсы». Мы переждали с места на место — и это длинное прозвище загадочным образом следовало за нами. Слово кто-то сообщил о нем по радио или по телефону.

— Ты понимаешь, — объяснил мне отец, — мама талантлива во всем, за что бы она ни бралась. Абсолютно во всем! Это одаренная натура. Такие натуры типичны для Руси... Ну, вспомни хотя бы Бородину или Шаляпина. Один по воскресеньям сочинял музыку, а другой между делом великолепно рисовал. Для них это тоже было как бы самодеятельностью!

Отец говорил тихо. Он считает себя не вправе повышать голос. От этого слова его какутся очень продуманными и убедительными. Когда человек говорит громко или кричит, я всегда думаю, что он это делает сгоряча, что голос неточно передает его мысли и чувства.

О маминих талантах отец говорит почти шепотом, будто раскрывает какую-то священную тайну.

Мама действительно, как я уже говорил, и своей бухгалтерией руководит, и поет, и сочиняет стихи... Она умеет чинить телефон и дверной замок, если они портятся.

Есть у мамы еще одна удивительная особенность... Она помнит имена, отчества и фамилии всех сослуживцев, с которыми когда-либо работала, всех наших дальних и близких родственников. Она помнит все важные даты в жизни этих людей: когда родились, когда поженились... Эти даты записаны у мамы в особом блокнотике, в который она почти никогда не заглядывает.

— Уникальная память! — тихо восхищается папа.

И всех этих людей мама поздравляет с их личными праздниками и с общими торжествами. Переход 7 ноября, 1 Мая и Новым годом мама до глубокой ночи просиживает над горой поздравительных открыток. Ей отвечают. Правда, не все... Но и тем, кто не отвечает, мама продолжает писать.

— Не подумай только, что это бухгалтерская точность, — объяснил мне отец. — Они живут в ее сердце... А не просто в памяти. Понимаешь?

У папы есть другая особенность: он любит восторгаться людьми. А в некоторых просто влюбляется.

На строительстве металлургического завода папа влюбился в Лукьянова. Это заместитель начальника стройки.

— Одаренная натура. Творческая личность! — говорит отец.

У отца тоже есть прозвище: «Тайный советник». Его придумала мама. И только она его так называет.

С отцом, и правда, часто советуются — главным образом одаренные личности и творческие натуры.

Лукьянов же советовался по телефону то с отцом, то с мамой.

— Ты заметил: он здоровается только с тем, кто ему на этот раз нужен? — спросила как-то у отца мама.

Так как я не был нужен Лукьянову никогда, он со мной вообще не здоровался.

— Представь себе масштаб его забот! — тихо воскликнул отец. — Просто нет времени на лишнее слово, на лишнюю фразу.

— Он хоть раз спросил, как ты себя чувствуешь? Лично моим здоровьем он не интересовался ни разу.

— У него нет времени на этикет. Но если бы мы заболели, он бы помог. Не сомневался.

— А почему он не приходит к нам в гости? — спросил я. Мне было интересно посмотреть на Лукьянова.

— В наш век телефон все чаще заменяет живое человеческое общение, — объяснила мне мама.

— Ну, в том, что в сутках всего двадцать четыре часа, Лукьянов не виноват, — возразил отец.

— Нет времени? — задумчиво произнесла мама. — Это правда... На нем держится стройка!

— Ну, почему же? — не согласился отец. — У нас много одаренных людей. — Он назвал несколько имен и фамилий. И, обратившись к маме, добавил: — А ты сама? Ни одно правительство не может обойтись без министра финансов!

Мама как будто не услышала последней фразы.

— Лукьянов — голова! — сказала она. — На лету схватывает.

— При этом он советуется, звонит... И всегда смотрит вперед! — согласился отец.

Действительно, разговаривая с Лукьяновым, папа и мама то и дело повторяли:

— Вы правы: это пройденный этап. Надо смотреть в будущее!

Лукьянов даже приснился мне однажды с подозрительной трубой в руках: он разглагольствовал, что делается там, впереди.

Я не влюбляюсь в людей так часто, как папа. Но одного человека я любил уже больше трех лет. Это был дирижер нашего хора Виктор Макарович.

Взрослые люди утверждают, что трудно объяснить, за что именно любишь человека. Но я бы, мне кажется, мог объяснить...

Во-первых, он раньше всех заметил, что у меня открытое и приятное лицо. Во-вторых, он умел показывать фокусы, играть не только в чехарду, но вообще во все игры. И обязательно побеждал!

Директора Дома культуры, которого мы прозвали Дирдомом, он обыгрывал на бильярде. Дирдом очень нервничал и оправдывал свои поражения тем, что «на нем вся культура».

«Если бы Лукьянов проиграл Виктору Макарови-чу», — подумал я, — он бы, наверное, сказал, что «на нем вся стройка». Неплохо устроились!»

Я продал Виктору Макаровичу несколько партий в настольный теннис. После чего мне сообщили, что в обыкновенный теннис он играет гораздо лучше, чем в настольный.

Однажды, когда Виктор Макарович обыграл в шахматы девочку из младшей группы нашего хора, я услышал, как Маргарита Васильевна сказала:

— Ну, ей-то вы могли бы и проиграть!

— Зачем унижать ее? — ответил Виктор Макарович. И, испугавшись, что Маргарита Васильевна обидится на него, стал объяснять: — Вы же сами говорите, что детей следует уважать... И нельзя обманывать!

С маленькими участниками нашего хора он любил играть в прятки. И они никогда не могли его отыскать.

— У меня и фамилия-то для игр подходящая: Кар-равая! — говорил он. — Каравай, каравай! Кого хочешь, выбирай...

Только одну игру Виктор Макарович отверг прямо у меня на глазах. Он не захотел играть в поддавки.

— Это какая-то антиигра! — сказал он. — Победа состоит в поражении... Стремиться к тому, чтоб тебя уничтожили! Не понимаю.

У него на многое были свои особые взгляды. Вот, например, ему не нравилось слово «конференансе». Слово «ведущий» казалось ему нескромным. И он прозвал меня «объявлялюй».

«Объявлялюй» — так меня все и звали.

— Ты как бы разведчик, — говорил мне Виктор Макарович. — Ты первый начинаешь общение с залом. Твой голос звучит еще до того, как я встану рукой, до того, как зазвучит музыка... Ты должен зарядить людей вниманием, интересом. Это очень ответственно! Ты как бы наша обложка. А обложка в книге — не последнее дело. Можно даже сказать, первое: с нее все начинается. Надо не просто произнести фамилии композиторов и названия песен, а голосом своим выражать отношение и к сочинителю и к его музыке... А чтобы иметь свое отношение, ты должен з н а т ь!

Виктор Макарович репетировал без пиджака. Он то и дело засовывал рубашку в брюки, как тогда, после игры в чехарду.

— Вы — хор! — напоминал он ребятам. — А что является синонимом слова «хор»? Кол-лек-тив! Я так считаю... Маргарита Васильевна, вы согласны со мной?

Она никогда не отвечала на эти его вопросы. Но он упорно продолжал задавать их.

— Никто не может жить на сцене как бы сам по себе. И в то же время каждый должен себя ощущать солистом. В том смысле, что нельзя прятаться за спины впереди стоящих. И за их голоса! В смысле чувства ответственности... каждый из вас солист! Вы согласны, Маргарита Васильевна?

Она склоняла голову, почти что укладывала ее на подставку для нот, которую, как я узнал, называют «пюпитром». Она беззвучно бродила пальцами по клавишам. Одним словом, всем своим видом показывала, что вопросы его ни к чему.

Особенно он переживал, когда нужно было петь без сопровождения, то есть без аккомпанемента Маргариты Васильевны. Такое пение называется красивым иностранным словом «а капелла». Тут уж он десять раз извинялся:

— Простите, пожалуйста, Маргарита Васильевна... Мы сейчас споем «а капелла». Чтобы вы отдохнули немного. Простите, пожалуйста...

Мне казалось, что он побаивается ее. «He может же он ее до такой степени уважать?! — думал я. — Побавляется, наверное... Есть за что! Ведь это она обнаружила, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма!»

Маргарита Васильевна называла нас по фамилиям. А Виктор Макарович — по именам, хотя это было рискованно: одних только Сереж в хоре было пять или шесть. Виктор Макарович поворачивал голову в сторону того, к кому обращался. Но мне казалось, что и без этого один Сережа отличил бы себя от другого: к каждому из нас Виктор Макарович относился как-то по-особому.

Например, кроме меня, в хоре было еще два Миши. Но Мишенькой он называл только меня. Не знаю, почему... Может быть, потому, что только один

я во всем хоре не пел,— и он хотел своей нежностью как-то сгладить этот мой недостаток.

И отчитывал он меня только наедине.

— Ты исходи не из звучания фамилий, а из характера произведений. Ведь если тебя послушать, получится, что самый прекрасный композитор на земле — Орландо Лассо. Он сочинил очень колоритную песню «Эхо». Не спорю... Но ты объявляешь его прямо-таки с упоением. А почему? Потому что красиво звучит: Ор-лан-до Ла-с-со! А фамилию «Бородин» произносишь так, между прочим. Почему? Может быть, потому, что у нас в хоре поет Людвиг Бородин? Стало быть, никакой экзотики? Это если... не заглядывать вглубь. Запомни: имя творца создают его произведения. Вы согласны, Маргарита Васильевна Прости... Ее же здесь нет... Запомни... Твои интонации должны незаметно, как бы исподволь давать характеристику произведения. Этим полунамеком... Нельзя же абсолютно одинаково объявлять фугу Баха, и прелюдию Генделя, и «Песнь о лесах» Шостаковича, и «Мелодию» Рубинштейна. Но чтобы чувствовать, чем они отличаются друг от друга, ты должен знать!

И я продолжал сидеть на всех репетициях.

Мама считала, что хоть я и не пою, но присутствие на репетициях меня «музыкально развивает». Она была права. Кроме «Орландо Лассо», «пюпитр» и «а кателла», я узнал много других очень красивых слов. Ну, например, «сольфеджио». Оказалось, что это — название урока, на котором все ребята поют по нотам. Я даже подумал, что не мешало бы и школьные уроки называть такими же красивыми именами: приятней было бы ходить в школу!

У нас в шкафу, на самом почетном месте, висит мамин «концертное» платье. В нем мама выходит на сцену, чтобы читать стихи или петь. Платье время от времени перешивается, потому что оно должно, как говорит мама, шагать в ногу с модой.

«Шагающее платье»... Это образ, созданный мамой. На стройках, где мама с папой работали, были шагающие экскаваторы. А в шкафу висело «шагающее платье». Будни и праздники...

— Симпатично! — однажды тихо воскликнул папа. Теперь рядом с концертным платьем, как бы рука об руку с ним, в шкафу висела и моя концертная форма: синие брюки и голубая куртка с золотой лентой на боковом кармане.

Вобщем все в моей жизни стало более праздничным!

Соседи, встречая меня, спрашивали, когда будет следующий концерт. Наиболее интеллигентные учителя, вызывая к доске, узнавали, не устал ли накануне от репетиций. Если я не знал урока, то говорил, что устал. И меня отпускали на место... А после выступления нашего хора по телевидению мне просто не давали прохода. Самые красивые девочки в школе, увидев меня, начинали с то то с сего хохотать. Это было приятно.

Все три с лишним года меня сопровождали аплодисменты и ослеплял прожектор! И хотя Виктор Макарович предупреждал: «Это аплодируют Шостаковичу и лишь на пять процентов нам с вами!», мне вполне хватало и этих пяти процентов.

После репетиций и после концертов я все время вертелся неподалеку от Виктора Макаровича, чтобы он заметил меня и спросил:

— Что, Мишенька, пойдем домой вместе?

Его никто не провожал в Дом культуры и никто не встречал. Он жил один. На той же улице, что и мы.

Я думаю, у него просто не хватило времени завести свою семью и своих детей, потому что утром он репетировал с младшей группой хора, днем — со

средней, а вечером — со старшей. Или наоборот... Так было всю жизнь. Значит, из-за нас, из-за наших песен он жил на свете один.

По Малому залу Виктор Макарович носился бодро и молодо. Когда же мы возвращались домой, он слегка прихрамывал, часто останавливался и просил меня не торопиться.

А говорил он все время о будущих программах; и о том, что Маргарита Васильевна всех нас очень любит, но из педагогических целей не хочет этого проявлять; и о том, что, я, выходя на сцену, не должен делать вид, будто преподношу залу какой-то подарок. Это уж по ходу концерта должно выясниться: преподнесли мы подарок или нет.

Он тоже, как и Лукьянов, все время смотрел вперед. В последнее время там, впереди, замаячили два отчетных концерта — один для юных граждан нашего города, а другой — для взрослых.

Думая об этих концертах, Виктор Макарович так волновался, что даже на улице заправлял рубашку в штаны.

3

Мама и папа не признают политики невмешательства. Поэтому, если мама задерживается на работе, папа сходит с ума:

— Наверно, она опять вступила в борьбу с хулиганами!

Стараясь успокоить отца, я вспоминаю, что у мамы в этот день занятия литературного кружка, которых на самом-то деле нет.

А если отец задерживается, мама восклицает: — Он опять помогает какому-нибудь новоявленному Эдисону!

Когда папа наконец возвращается домой, мама говорит примерно так:

— Нельзя столько времени уделять чужим дарованиям. Собственное увянет!

— Не может увянуть то, чего нет, — отвечает отец.

— Помогать другим — это тоже талант! — возражает мама. — Но не самый рентабельный для семьи.

Мама часто употребляет привычные для нее бухгалтерские словечки.

— А сама-то ты разве не вмешиваешься, когда нужна помощь? Причем в гораздо более рискованных ситуациях. Хотя ты, женщина, могла бы пройти мимо.

— Чему ты учишь меня?! — возмущается мама.

Они часто уговаривают друг друга «не вмешиваться». Во время таких разговоров то и дело звучит: «А ты сам?» «А ты сама?!» «Ты бы не уважал меня, если бы...» «Ты бы не уважала меня...»

И оба продолжают бороться с «политикой невмешательства».

Иногда по вечерам у нас во дворе раздавались звуки музыки. Это играл Володька по прозвищу Мандолина. Он жил в соседнем подъезде. Отец и мама сразу же оказывались у окна: — потому, что обожала самодеятельность, а он — потому, что не мог пройти мимо чужих дарований.

— Будущий виртуоз! — сказала однажды мама.

— Почему будущий? — возразил отец.

Но многие жильцы встречали Володьку игру без восхищения. Особенно потому, что вокруг Мандолины всегда собиралась толпа.

— Концентрируется штанал! — услышали мы с папой однажды.

— Почему, если много ребят собирается в школе, то это класс или отряд, а если во дворе, то это шпана?—спросил папа и пожал плечами.— До чего изменяет память! Детство свое и то забывают. Возмущавшийся сосед очень любил обращаться за помощью к газетам.

— Всюду пишут о праве человека на тишину!

— Ну, если для вас музыка и шум — это одно и то же...

— Он уже мать свою уложил в больницу. ЭТОТ ваш музыкант!

— Как он мог уложить?

— Вы сначала узнайте, а потом уж заступайтесь!

Кивнув в сторону Мандолины, отец сказал мне:

— Надо бы переместить его на другую сценическую площадку! Но при чем тут больница? Не понимаю.

Через несколько дней я опять возвращался из Дома культуры вместе с Виктором Макаровичем. И рассказав ему про Мандолину.

— По мнению папы, гибнет талант, — сказал я. Виктор Макарович ничего не отлаживал в долгий ящик.

— Надо послушать. Приведи его завтра. Если это хорошо, определим его в струнный оркестр.

— Он не пойдет... Я уже предлагал.

— Отказался? Почему?!

— Не знаю... Он вообще парень неразговорчивый.

— Неразговорчивый? Это — прекрасное качество. А где он живет?

— Рядом с нами. В соседнем подъезде.

— Ну, если Магомет не идет к горе...

Мандолины не было дома. Но если бы даже он был, все равно в первый момент его бы никто не заметил. Потому что в коридоре разыгралась сцена, которую невозможно было предвидеть.

Абсолютно лысый человек, у которого из-за отсутствия волос щечи, и подбородок, и лоб, и затылок — все сливалось во что-то одинаково круглое, голое и доброе, открыл нам дверь, нервно поправил очки и воскликнул:

— Виктор Макарович?!

А Виктор Макарович поспешно заправил рубашку в штаны и воскликнул:

— Неужели... Димуля?!

Войдя в комнату, Димуля сразу стал что-то смахивать со стола, что-то накрывать, что-то прятать... Но Виктор Макарович не обращал на беспорядок никакого внимания. Он подождал к стене и влился глазами в фотографию, которая висела на ней.

— Это я! — сказал Виктор Макарович. И указал пальцем на спину, изображенную на переднем плане. В углу фотографии стояла дата... И хоть прошло, как я быстро высчитал, тридцать лет, спина у Виктора Макаровича была такая же, как и теперь: подвижная, вся устремленная вперед, навстречу хору, который на фотографии пел.

— А это Дима и Римма! — сказал Виктор Макарович и ткнул пальцем в солистов, стоявших с раскрытыми ртами впереди хора. В одном из них я сразу узнал Димулю. Черный волос не делал его лицо менее беззащитным и добрым.

— Дима и Римма... Римма и Дима! — мечтательно произнес Виктор Макарович. — Имена рифмовались... И пели дуэтом!

— Она в больнице, — растерянно и грустно сказал Димуля. — Вот у нас с Володей тут и творится...

Он продолжал что-то запикивать в ящик, что-то прятать под скатерть.

Виктор Макарович резко повернулся и уставился на Димулю:

— Вы что... поженились?

— Семнадцать лет назад.

— И мне об этом не сообщили? И не зашли ни единого раза? А ведь были любимчиками! Маргарита Васильевна обвиняла меня в предвзятости: «Нельзя отделять детей от детей!»

— Поэтому мы и стеснялись, — растерянно продолжал Димуля. — Вы же предсказывали нам музыкальное будущее. А мы ничего этого... не оправдали. Я вообще с десятилеткой остался. А Римма окончила техникум. К тому же торговый... Сейчас Римма в больнице.

— Разве я вас за голоса ваши любил? — задумчиво произнес Виктор Макарович. — Дима и Римма... Значит, навсегда срифмовались? Сохранили дуэт? Я очень рад... Он вдруг встрепенулся: — Ты сказал, Римма в больнице? А что такое?

— Сердце у нее. Всю жизнь сердце.

— Да, да... Я помню. Она болела ангиной. Я все боялся за ее голос!

— Рожать ей нельзя было. А она родила.

— Мандолину? — неожиданно спросил я. Виктор Макарович взглянул на меня с изумлением.

— Это — прозвище нашего сына, — объяснил Димуля. И успокоил меня: — Ничего, ничего... Ты его знаешь?

— Его знает весь дом, — сказал я.

— Но не весь дом его любит... — Димуля огорченно развел руками.

— Кто-то сказал: «Человек, который в всем нравится, вызывает у меня подозрение!» — успокоил его Виктор Макарович.

— По-моему, неплохой мальчик... Как ты считаешь? — обратился ко мне Димуля.

— Будущий виртуоз! — уверенно сказал я.

— И до сих пор мы с ним незнакомы! — Виктор Макарович с укором взглянул на Диму и Римму, которые пели под его управлением. — Забыли меня. Совсем, значит, забыли...

Димулины руки прижались к груди.

— Мы?! — Он обхватил руками свою круглую голову. — Римма все время приводит вас в пример. И сыну и мне... А я привожу вас в пример ей и сыну.

— Представляю, как ваш сын меня ненавидит!

— Вас?! Да мы воспитываем его «по Виктору Макаровичу». Так Римма недавно сказала.

— И какой результат?

— Учится плохо...

— Вот те на!

— А в остальном я доволен. Добрый... Играет на мандолине. Мы его с младенчества музыке обучаем. Сами, домашними средствами... Вздъ вы нам внушили, что музыка — радость, а иногда и спасение.

Виктор Макарович снова обратился к фотографии, висевшей на стене:

— Но почему же не привели его?

— Стыдился... В дневнике — тройка на тройке. С математикой очень не ладит.

— Я с ней тоже не ладил, — сказал Виктор Макарович.

— И я с ней не лажу! — с гордостью сообщил я.

— Ты, оказывается, нас слушаешь! — спохватился Виктор Макарович. — Музыкант — это призвание. Он может в конце концов позволить себе... А «обязатель» должен успевать по всем дисциплинам.

— Мы ведь знаем, что с тройками в Дом культуры не полагается... — грустно сказал Димуля. — Всегда говорят: «Сначала — отметки, а потом уж кружки!»

— Может быть и наоборот... Не при Мишеньке будь сказано! — возразил Виктор Макарович.

— Мы сходили к директору Дома. Так, для очистки совести...

— К Дирдому? — воскликнул я.

— У него такое прозвище? — почему-то обрадовался Димуля. — Он нам решительно отказал.

— На каком основании? — спросил Виктор Макарович.

— Мы, говорит, должны думать о репутации Дома культуры. О его лице!

— Тут бы вы ко мне и зашли!

— Постыдились мы... Подошли к Малому залу, в щелочку поглядели. Все, как прежде... И Маргарита Васильевна за роялем. Римма заплакала — и пошла домой.

— Как же так? Как же так?! — допытывался Виктор Макарович у фотографии на стене.

— А через три дня Римма в больницу слегла. И это тоже на Володьку списали.

— Кто списал?

— Так получилось... Он двойку за контрольную по алгебре получил. Ну, Римма покричала на него. Как полагается... А слышимость у нас в доме прекрасная! Сосед один за стеной живет...

— Знаю его, — вставил я.

— Он на следующий день утром сказал: «Таких, как ваш сын, в газетах трудными и детьми называют». А вечером с Риммой приступ случился... Не из-за Володьки, конечно. Но приписали ему! Он с сумками по двору идет, а ему вслед: «Сперва уложил, а теперь беспокоится!» Если что-нибудь случается, говорят: «Из компании Мандолины!» Разве он может отвечать за всех... которые вокруг него собираются? Как-то обидно...

Когда мы вышли на улицу, Виктор Макарович попросил меня проводить его.

Но разговаривал он по дороге с самим собой. Часто останавливался, терял икры ног. Даже присаживался на скамейки.

И продолжал рассуждать:

— Удивительно! Постыдились... Будто я их в певцы готовил. Люди хорошие получились — и замечательно! Получились хорошие люди!

— Получились, — ответил я.

Но он задал вопрос самому себе и на мой ответ не обратил никакого внимания.

— Человек с тройками не должен петь! Надо же до такого додуматься!... Не справился с алгеброй — бросай мандолину. Где тут логика?

— Нету логики, — тихо ответил я.

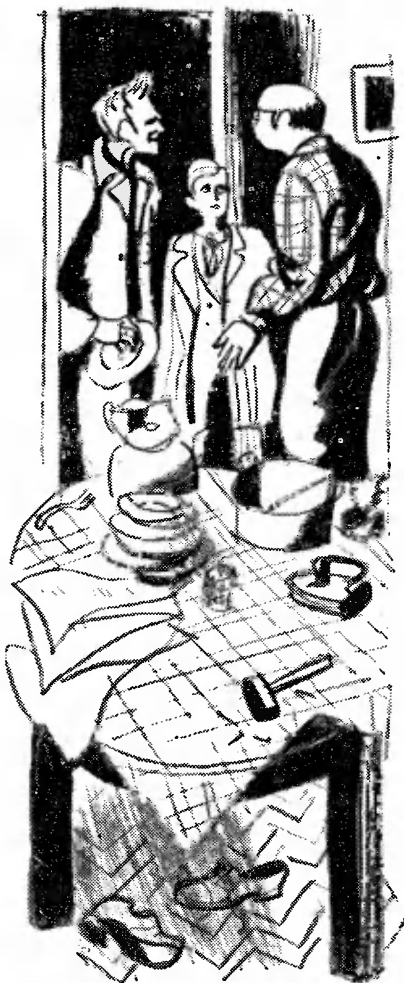
— И почему все думают, что я готовлю певцов? Гриша Дубовцев стал начальником конструкторского бюро, заслуженным деятелем науки. А сообщает об этом так, будто извиняется, что стал заслуженным деятелем, а не заслуженным артистом республики. Хотя один из моих учеников все-таки и в заслуженные артисты пробился... Горжусь! — Вдруг Виктор Макарович остановился и воскликнул: — Прекрасно, Мишенька! Я знаю, что надо делать.

— Что? — спросил я.

— Мы выпустим Володю в наших отчетных концертах. Пусть это будет сюрпризом!

— Для Дирдома?

— И для него тоже! Представь себе... «Дунайские волны!» Или, допустим, гурьевский «Колокольчик». Исполняют мандолина и хор... Великолепно! Ведь тембр мандолины, Мишенька, близок к детскому голосу. Особенно в среднем регистре. Та-ак... — Виктор Макарович ничего не отклады-



вал в долгий ящик.—Вернемся обратно! И сообщим...

— Я могу сам пойти.

— Нет, я должен сделать официальное приглашение!

Мы побежали обратно.

4

Трудно было определить, кто готовится к отчетным концертам—я или мама. Мама вслух произносила фамилии композиторов и названия песен, стараясь подсказать мне, как они должны прозвучать со сцены.

Она заставляла меня по вечерам пить валерьянку, чтобы я хорошо спал и вообще привел в порядок свою нервную систему.

— Ни один годовой бухгалтерский отчет не стоил мне такого напряжения, как отчеты вашего хора!—говорила мама. И тоже пила валерьянку.

О предстоящих концертах мама регулярно напоминала всем нашим знакомым. И если оказывалось, что кто-то болен или уезжает в командировку, она очень расстраивалась.

Возле телефона лежал разделенный надвое красной чертой лист бумаги. В одной графе значилось—«Дети», в другой—«Взрослые». Мама записывала имена всех, кого следовало пригласить на утренник и на вечерний концерт.

— Подведем баланс!—заявляла она.—Практически я включила всех!

А через минуту она бежала дополнять список новыми именами. Из-за этого маме приходилось то и дело обращаться к администратору Дома культуры, который распределял приглашительные билеты. Собираясь наполовину заполнить зал своими знакомыми, мама тем не менее предупреждала:

— Не повторяй моих ошибок: не смотри в нашу сторону. И вообще не вспоминай о том, что мы тебя слушаем. Сразу же возникнут натыкнутость и неестественность. А это практически все сводит на нет! Поверь моему опыту...

Мама часто переживает у людей, которые ей нравятся, их любимые словечки и выражения. «Практически»—это было слово Лукьянова. Еще он любил говорить—«проеданный этап» и короткое слово «дело».

Я никогда не видел Лукьянова, но мне казалось, что я узнал бы его, даже встретив где-то на улице. Особенно если б это было поблизости от управления строительством, где Лукьянов работал. Я бы сразу понял, что это он: высокий, стремительный, никогда не оглядывающийся назад. И его манера говорить, его любимые выражения тоже были мне хорошо известны, потому что у мамы есть еще одна интересная особенность: разговаривая, она иногда повторяет последние фразы своего собеседника. Ну, например, обсуждая с Лукьяновым по телефону разные финансовые вопросы, она задумчиво повторяла его последние мысли: «Значит, вы считаете, что это практически пройденный этап!» «Для пользы дела мы должны считать это пройденным этапом! Вы так считаете?..»

Повторяя за собеседником его последние слова, мама как бы обдумывает, верны они или нет, может ли она согласиться или должна возразить. С Лукьяновым мама порою аступала в решительный спор. И чем больше горячилась, тем чаще употребляла его словечки:

— Практически вы не правы! Если думать о пользе дела, мы должны...

Споры иногда заканчивались и маминной победой. Но она не ликовала по этому поводу: она уважала Лукьянова.

— Ну что ты волнуешься?—сказал я маме в день первого отчетного концерта, на который были приглашены дети.—Ведь я всего-навсего объявляю...

— Всего-навсего объявляешь?—повторила мама.— Нет уж! На этих концертах ты должен доказать всем и самому себе, что ты вовсе не «объявляешь», что ты—артист!

Наверно, из-за того, что я должен был это доказать, мама и испытывала такое большое нервное напряжение.

— Особое внимание обрати на пересказ содержания песен... которые вы исполняете на иностранных языках,—предупредила мама.—Мы должны почувствовать, что с твоей помощью путешествуем по земному шару...

Путешествовать наша семья привыкла!

А папа волновался за Мандолину:

— Если будет провал...

— Виктор Макарович тоже за него беспокоится,—сказал я.—Вы садитесь, пожалуйста, рядом с Димудей!

— Ты бы узнал все-таки его имя и отчество. Нам с мамой не очень удобно... Ведь мы с ним не пели в хоре!

Чтобы Володя не долго мучился, Виктор Макарович выпустил его в начале программы. «Дунайские волны» были нашим четвертым номером.

Я громко назвал Володю «Владимиром» и «солистом». Он вышел, сел, склонился над своей мандолиной, как над ребенком... И словно бы стал баянать ее.

Как только я вернулся за кулисы, на меня налетел Дирдом. Каким образом он успел за две или три минуты добраться из ложи до меня.—До сих пор понять не могу. Вид у Дирдома был такой, будто он только что выпил стакан рыбьего жира.

— Ему.—Он указал на Виктора Макаровича, который, казалось, плыл в этот момент по Дунаю.—Ему я не могу сейчас высказаться... Но у тебя же в руках программа, которая утверждает! Где тут «Дунайские волны»? Покажи мне...

— Это идет сверх программы,—пробормотал я.

— А кто это «сверх» утвердил?

— Мандолина—одаренная личностью!—сказал я.—Послушайте, как он играет...

— Есть правила приема в хор! Есть утвержденный порядок! Я объяснил это его родителям. А они, значит, с черного хода!

У Дирдома была манера долго толковать людям то, что они уже давно поняли. Он продолжал говорить мне, что правила на свете для всех одни, что не может быть исключений... Проверил, не вписано ли в программу еще что-нибудь такое, чего он не слышал.

— У нас во дворе...—начал я.

— Здесь не двор!—вскрикнул Дирдом.

И тут «Дунайские волны» кончились. Как Володя играл, я так, к сожалению, и не услышал. Но важнее для меня было другое...

— Послушайте!—снова воскликнул я.

Я знал, что ребята из нашей школы сейчас будут кричать «бис» и скандировать. Об этом мы твердо договорились.

Они начали кричать... И даже слишком громко. Некоторые ступали ногами, о чем уговора не было.

— Триумф!—сказал я.

Но Дирдом испарился. Он не хотел быть свидетелем нашей победы.

Володька заиграл снова... На «бис» в первом отделении исполнялись только «Дунайские волны». А Виктору Макаровичу Дирдом ничего не сказал о Мандолине. Ни слова... «Значит, мы действительно победили!» — ликовал я.

Но главным в тот день было не это...

5

Тлавым было то, что я услышал от Виктора Макаровича, когда мы возвращались домой. Он очень устал. Остановливался чаще, чем всегда, и дольше, чем всегда, растирал икры ног. Мы шли и молчали... Потому что все восторги по поводу концерта я успел высказать ему еще в Доме культуры.

Когда мы уже подходили к дому Виктора Макаровича, он вдруг печально сказал:

— Я счастлив.

— Да! Мы сегодня рванули!..

— Не в этом дело. Я слышал, как Димуля звонил в больницу жене. Ее не позвали. Тогда он попросил сестру передать, что Володю вызывали на «бис». Я счастлив! — Он помолчал. И добавил: — Но как этот Мандолина похож на Димую! Когда он первый раз пришел на репетицию, мне показалось, что я помолодел лет на тридцать! Вот сейчас, показалось мне, появится Римма в красном галстуке, встанет рядом, и они запоют!

— Голова такая же круглая, — согласился я. — Только с волосами и без очков. А Дирдом говорил, что его лицо нам не подходит. Он считает наши дневники нашими лицами!

— Пушкин тоже не мог овладеть математикой, — сказал Виктор Макарович. — И что же, если бы Пушкин поступал к нам в литературный кружок...

— Дирдом бы его не принял! Потому что его лицо могло бы испортить лицо Дома культуры...

— И мое лицо может испортить. А верней, мои ноги, — с печальной улыбкой сказал Виктор Макарович. — Поэтому я сегодня дирижировал вашим хором последний раз. — Виктор Макарович умел показывать фокусы и любил розыгрыши... Я посмотрел на него с неодобрением. — Последний раз, — повторил он.

— Как... последний!?

— Был консилиум, — продолжал он. — Это грозный совет докторов! Он самое страшное, когда он выносит решение единогласно. Неизлечимая болезнь ног...

— Отчего это?

— Говорят, от курения. Но я никогда не курил. Говорят, от неподвижного образа жизни. Но я всю жизнь двигался. А теперь... Долго ходить нельзя, долго стоять нельзя. Дирижировать можно сидеть.

— Ну и что же? — воскликнул я. — Ну и что же! Это будет отличать вас от всех остальных. Вы сидите, а они перед вами стоят! Учителя, когда разговаривает с учеником, тоже сидят, а ученик перед ним стоит.

— Но Дирдом считает, что сидящий дирижер пионерского хора — это для его Дома культуры не походящий. Я думаю, в данном случае можно с ним согласиться. Я и так невысок. А если сяду на стул, меня и вовсе не будет видно. Так что приходи теперь ко мне домой... Времени будет много — в шахматисти сыграем.

— Но ведь вы можете выздороветь!

— Добрый мой мальчик... — сказал Виктор Макарович.

— Ведь есть же какие-то средства!

— Меньше стоять, не перегружать свои ноги. Перехожу на «сидячие» игры. Пора уже: я ведь вошел в пенсионный возраст.

«Вбежал!» — захотелось мне поправить его. Потому что он всегда очень стремительно двигался.

— Как же... теперь? — спросил я.

— Будете под управлением Маргариты Васильевны. Она вас знает и любит.

— Маргариты Васильевны! Но ведь она тоже... немолодая.

— Разве это заметно! — медленно и с удивлением спросил он. Я ничего не ответил. — Пусть она как дирижер проявит себя прямо на следующем отчетном концерте! В присутствии общественности и ваших родителей. Чтоб они были спокойны!

— Через неделю?

— А что же тянуть?

«Нет! Лучше он — сидящий, чем она — стоящая!» — твердо решил я в ту минуту.

Мои родители были потрясены этой новостью не меньше, чем я.

— Он не должен уйти: он же талант! — тихо воскликнул папа.

— Неужели ничего нельзя придумать? — сказала мама. И выпрямилась. Когда она произносит эту фразу, мы с отцом сразу начинаем верить, что выход найдется. Безвыходных ситуаций мама не признает. — Я буду думать... произнесла она.

— Очень прошу тебя, — сказал я.

— Надо доказать, что без него ваш хор петь не сможет! — решительно заявила мама.

Эта фраза толкнула меня на неожиданную и смелую мысль.

«Да, мы докажем, что без него петь невозможно!» — решил я. — Пусть мама ищет свой выход из положения. Но я и не буду сидеть сложа руки!

План, который родился у меня в голове, я открыл участникам средней группы нашего хора. «Средней» группа была не по качеству, а по возрасту: в нее входили ребята, которые учились в четвертых, пятых и шестых классах. С представителями этого возраста договориться мне было легче всего. Младшие могли мой план не понять, а старшие — не принять.

«Средняя группа, как я и предполагал, поняла меня сразу! Хотя план был рискованный и опасный...»

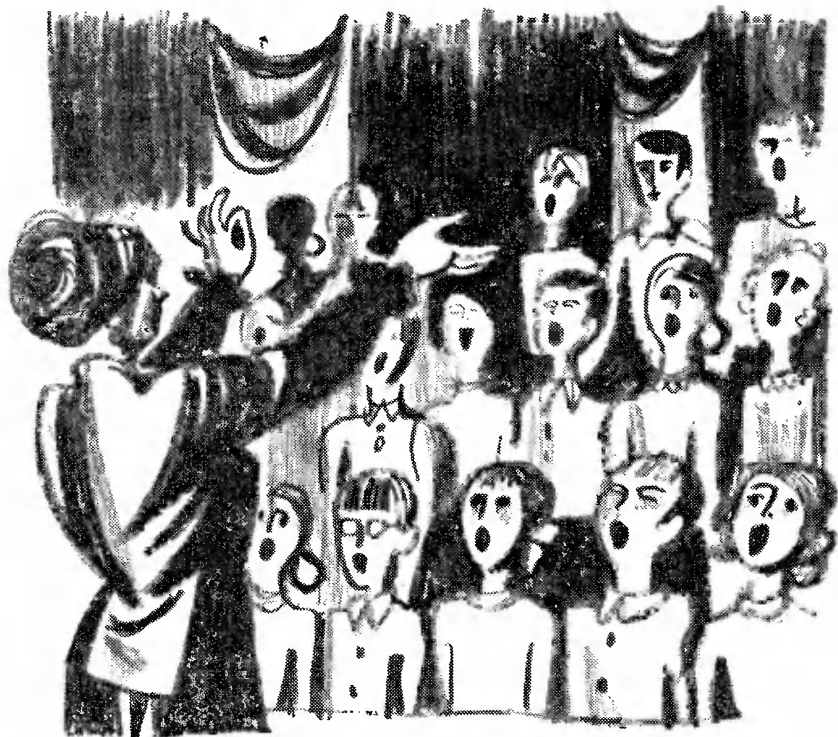
Мама как-то сказала, что ребята в моем возрасте очень смелы, потому что у них нет опыта и они еще не успели набить себе шишек. Мама очень хочет, чтобы я учитывал ее опыт, ее ошибки. Но я все больше убеждаюсь в том, что на ее шишках мне трудно будет чему-нибудь научиться. «И вообще, — рассуждал я, — не очень-то получится благородно, если один будет набивать себе синяки, а другой на этих синяках... на чужом, значит, горе будет учиться!»

И вот наступило то самое воскресенье.

Взрослые собрались в фойе Дома культуры задолго до начала концерта... Родители и родственники наших хористов были очень возбуждены. Некоторые мамы целовались и неизвестно с чем поздравляли друг друга.

Пришли и бывшие участники нашего хора. Среди них, как успел сообщить Дирдом, были и такие, которые очень многого в жизни достигли! Ну, например, заслуженный артист республики, о котором однажды упоминал Виктор Макарович. Фамилия его была Наливин. Эту фамилию знали все в нашем городе. И поэтому, когда Дирдом привел Наливина за кулисы, все очень переполошилось.

Только Маргарита Васильевна встретила Наливина хмуро. Он торжественно, раскинув руки, поплыл ей



навстречу. Но она увернулась, еле слышно пробормотав:

— Здравствуйте, Женя.

И после этого внятно произнесла:

— Уже был первый звонок!

Она, должно быть, боялась, что Наливин ответит нас от предстоящего выступления. «Хочет проявить себя!» — подумал я о Маргарите Васильевне.

Наливин был высоким и толстым. И было странно, что от его огромного тела отрывался и как бы журчал в воздухе тонкий женский голос. Когда он первый раз открыл рот, я даже вздрогнул и огляделся: мне показалось, что говорил кто-то другой.

— А где же наш бесценный Виктор Макарович? — спросил Наливин. И развел руки в стороны, готовясь обнять его.

— Он, вероятно, в зале, — скороговоркой сообщил Дирдом. — Сегодня будет дирижировать Маргарита Васильевна.

— Значит, мы с ним в антракте увидимся? — за- журчал голос Наливина. — Боюсь только, он опять будет журить меня, как в те невозвратные годы...

Певец обмерил взглядом свою фигуру. — Молодых влюбленных мне играть уже трудно: за кресло не спрячешься, с балкона не спрыгнешь!

Он снова обмерил себя осуждающим взглядом.

Я заметил, что есть люди, которые в шутку торопятся сказать о своих недостатках, опасаясь, что другие сделают это всерьез.

Наливин обращался сразу ко всему нашему хору. Он делал это очень легко: привык, наверно, делиться своими переживаниями с огромным залом театра оперы и балета!

— Напоминаю: уже был второй звонок! — деловито проходя мимо, произнесла Маргарита Васильевна.

— Но третий мы можем и оттянуть. Все — в нашей власти! — ответил ей вдогонку Дирдом.

— Ни в коем случае!.. испуганно зажурчал Наливин. — Из-за меня?! Если Дирдом Макарович узнает... Что же он не пришел за кулисы?

— В антракте увидитесь. В моем кабинете, — скороговоркой пообещал Дирдом.

Виктор Макарович сидел в девятом или десятом

ряду. Я думаю, он хотел показывать всем, что хор справится с программой без всякого воздействия с его стороны.

Но я решил доказать нечто совершенно противоположное!

Я вышел на сцену и, стараясь, чтобы лицо мое было как можно более открытым и приятным, сообщил, что концерт начинается, что дирижировать будет Маргарита Васильевна. Объявил название первой песни и фамилии ее авторов.

Маргарита Васильевна взмахнула руками и как бы дала сигнал: «На start! Внимание... Марш!»

Младшая и старшая группы рванулись вперед. А средняя немного замешкалась на старте и вступила не вовремя. Зато в другом месте она, будто испугавшись и стремясь наверстать упущенное, начала чуть-чуть раньше, чем полагалось...

Я наблюдал за всем этим из-за кулис. Но Маргариту Васильевну я старался не замечать, чтобы не подпустить к себе чувство жалости.

Мой план начал осуществляться!

Потом я объявил второй номер. И опять вернулся на свой наблюдательный пункт.

На этот раз все началось благополучно. Средняя группа не отставала... Хоровое многоголосие разливалось по залу. Но когда Маргарита Васильевна дала знак к окончанию песни, средняя группа, внимательно смотревшая на нее, этого знака не заметила и продолжала тянуть... У песни как бы образовался хвост.

Когда я вернулся на свой наблюдательный пункт в третий раз, там уже был Виктор Макарович... Он опирался на палку, которую я увидел впервые, и, казалось, стал еще ниже ростом.

— Неужели я ничему не научил вас за все эти годы? — тихо спросил он.

— Вы-то нас научили! Но вот без вас...

Он перебил меня:

— В одной стране, мне рассказывали, есть такая традиция... Главного врача больницы обязательно отправляют в длительную командировку. И если без него все идет, как при нем, он возвращается на прежнее место. А если хоть что-нибудь ухудшается, его переводят в радывые врачи. В ординаторы... Прекрасный обычай!

— Что вы хотите сказать?

— Я должен буду публично принести извинения залу, вашим родителям... Маргарите Васильевне...

Тут уж я перебил его:

— Ни за что! Я не пушу вас!

Третья песня подходила к концу... Я знал, что средняя группа готовила Маргарите Васильевне новый сюрприз.

— Одну минуточку! — сказал я Виктору Макаровичу. И принял такую позу, чтобы средняя группа обратила на меня внимание.

Но она готовилась... И на меня не глядела.

В следующее мгновение Виктор Макарович победил. И еще тяжелее оперся на палку, потому что на сцене успешно продолжал воплощаться мой замысел.

Я не знал, как поступить... Но, вероятно, мама права, когда отрицает безвыходные ситуации. Я вдруг придумал!

Третья песня уже закончилась. А я на сцене не появлялся... Я быстро цапнул карандашом на газетном клочке: «Рейата! Кончайте!»

Когда я вышел на сцену, кто-то захопал. Вероятно, нервы не выдержали долгого ожидания. Может быть, это были мои родители!

— Уже поступают заявки... с мест! — объявил я так громко, как никогда еще не объявлял ни одного номера. — Я перекаю эту просьбу хору. Она, конечно, будет исполнена!

На последних словах я сделал особое ударение. И передал записку... Но не Маргарите Васильевне, как полагалось, а своему однокласснику Лешке, который был моим главным союзником в средней группе.

Вернувшись за кулисы, я сказал Виктору Макаровичу:

— Теперь все будет в порядке.

Не поверив мне, он стал внимательно слушать и шевелить губами: весь наш репертуар он знал наизусть. Я тоже прислушивался... Особенно к средней группе. Хотя можно было уже не волноваться: просьба друга была для Лешки законом!

— Что это значит? — спросил Виктор Макарович.

Мама просит меня не повторять в жизни ее ошибок. И я не повторял... Я вообще не был уверен, ошибкой ли был мой план. Просто я не мог допустить, чтобы Виктор Макарович... И шепотом все рассказал ему.



— Значит, это ты сделал? — медленно произнес он. — Мой добрый мальчик!..

— Мы не хотели расставаться с вами!

В этот момент кончилась песня. Я вышел на сцену с лицом, которое, я думаю, было не таким открытым и приятным, как обычно. А когда вернулся за кулисы, Виктор Макаровича уже не было.

В антракте я помчался искать его. Но меня все время задерживали рукопожатия и похвалы. Почти все называли меня молодцом. Но у каждого это звучало по-своему... «Ты — молодец!» — восклицал один. «Ну, сегодня ты был молодцом!» — похлопывал меня по плечу второй. «Молодец-то ты молодец, но впереди еще целое отделение!» — предупреждал третий.

— Вам с Мандолиной, мне кажется, было трудней всего: вы оба солировали, — сказал папа. — И делали это вполне талантливо!

— Только не повторяй моей ошибки: не выкладывайся до конца на первой дистанции! — предупреждала мама. — Ведь именно в конце второго отделения ты будешь пересказывать содержание зарубежных песен! Просту тебя: постарайся оттенить специфику каждой страны... Прижма мое ухо к своим губам, мама спросила: — А что это там происходило... в начале?

— Ничего не заметил! — ответил я.

— Значит, Маргарита Васильевна была права: у тебя не все благополучно со слухом и чувством ритма.

В фойе, в буфете и в зрительном зале Виктора Макаровича я не нашел... Зато встретил Димку. Он вытирал платком свою добрую круглую голову и что-то искал.

— Как бы мне позвонить Римме? — спросил он.

— Телефон у директора!

— Прошлый раз я звонил оттуда. Но сейчас там...

— Автомат внизу, возле кассы — перебил я. Потому что в эту минуту вспомнил, что Дирдом обещал Наливину встречу с Виктором Макаровичем у себя в кабинете.

Я помчался туда.

Наливина еще не было. Виктор Макарович, Маргарита Васильевна и Дирдом стояли посреди кабинета. Мужчины нервничали, а Маргарита Васильевна только поправляла тяжелый пучок на затылке.

— Зайди, Миша, зайди, — позвал Виктор Макарович, когда я приоткрыл дверь. Кажется, впервые он не назвал меня Мишенькой.

Дирдом тоже, мне показалось, с нетерпением поджидал меня.

— Я убежден, что это безобразие в начале... произошло не случайно! — сказал Дирдом. — Это была попытка сорвать наш отчет. Ничего подобного раньше, до появления вашей... или в а ш е г о Мандолины не было! Говорят, он родную мать уложил в больницу. А теперь уложит наш хор!

— Володя тут ни при чем. Во всем виноват я..

Дирдом опять проглотил стакан рыбьего жира:

— Ты!

Маргарита Васильевна так же неторопливо, как она приводила в порядок свои густые, красивые волосы, произнесла:

— Зачем чтобы кто-то брал на себя вину? Все было естественно: ребята не привыкли ко мне. Они волновались.

Я хотел возразить. Но Виктор Макарович удержал меня за руку.

В эту минуту из приемной донесся журчащий голос Наливина:

— Дирекция у себя?

Дирдом сразу же запил рыбий жир стаканом сладкого морса.

Прямо с порога Наливин обрушился на худенького Виктора Макаровича, накрыл его собой.

— Фотографы бы сюда! Фотограф!.. — сладким голосом воскликнул Дирдом.

Потом Наливин стал обнимать меня, потом Дирдома. Когда с объятиями было покончено, я заметил, что мы, мужчины, остались одни: Маргарита Васильевна незаметно ушла.

— Десятилетия промчались, как миг, — разводил руками Наливин. — И вот сегодня меня вернули в невозвратную пору детства. Только уже вот такого... Он опять окинул себя критическим взглядом, как бы опережая в этом смысле Виктора Макаровича. — Поверьте, учитель, это не на почве переживания, а от неправильного обмена веществ! За болезнь ведь не судят...

— Победителей вообще судить не положено, — сказал Виктор Макарович. — Я счастлив, что ты знаменитый и заслуженно заслуженный!

— Но это и вами заслужено! — ответил Наливин. — Ведь это вы у меня обнаружили... Он погладил себя по горлу. — Если бы не вы!.. Вы первый услышали мою увертюру. Мою прелюдию... А сейчас уже опускается занавес.

— Ты сошел с ума! — весело воскликнул Виктор Макарович. — Карузо тоже был... полным. А Джимли!

— Врачи советуют перейти на концерты. А может быть, на педагогическую работу.

— И у тебя тоже... врачи?

— Что день грядущий мне готовит?... пропел Наливин.

Дирдом заплодировал.

— Ну, голос твой абсолютно здоров! — обрадовался Виктор Макарович.

— Увы... Извечный конфликт между формой и содержанием. Хотя у вас никакого конфликта не происходит: вы в образцовой форме... Он с добродушной завистью оглядел худенького Виктора Макаровича. — Общение с ним и не дает вам стареть! — Наливин ткнул пальцем в мою сторону. — А мне бы сейчас петь басом! Или в крайнем случае баритоном... — Оглядев себя, он вновь зажурчал: — Вас, учитель, сегодня не хватало на сцене! — Дирдом стал усиленно копаться в бумагах. — Кстати, где наша бестрепетная Маргарита Васильевна? — Наливин оглядел кабинет.

— Она не виновата, — твердо сказал я.

Виктор Макарович опять удержал меня за руку. — Я всегда восхищался, учитель, что вы столько лет... среди этого бушующего океана! — Наливин указал на меня. — Я бы и дня не выдержал.

— Как же ты собираешься переходить на педагогическую работу?

— Буду учить вокалу. Только вокалу... А ваше призвание — весь их мир! — Наливин опять ткнул в меня пухлым пальцем.

Дирдом совсем зарылся в бумаги. «Есть люди, которые воспринимают чужой успех как большее личное горе!» — как-то сказала мама. Не знаю, был ли Дирдом таким человеком, но авторитет и успехи Виктора Макаровича его раздражали. Я давно уже заметил.

— И вдруг сегодня вы покинули пост, — продолжал Наливин. — Почему?

— Ноги, Женечка... Все тут же неправильный обмен, который производит время: здоровья на нездоровье. И мне тоже придется поискать новое место в жизни.

— Оно только здесь, в этом Доме! — уверенно заявил Наливин. — Среди них! — В который уж раз

он ткнул в меня пальцем.— Без вас Дом культуры утратит первое слово в своем имени: он перестанет быть Домом. По крайней мере для нас!

Тут я захлопал.

— Маргарита Васильевна по образованию дирижер. И педагог по призванию,— четко проговорил Виктор Макарович.— Я в какой-то степени преграждал ей путь... Теперь она быстро найдет с нами общий язык!— Он тоже указал на меня. Я напомнил самому себе экспонат, который принесли на урок или на лекцию.— У нее есть этот талант,— уверенно закончил Виктор Макарович.

— А у меня нет!— признался Наливин.— Но и она не будет играть с ними в чехарду, показывать фокусы... Помните, как я через вас перепрыгивал?

6

Ч аса через полтора мы с Виктором Макаровичем, как всегда не торопясь, возвращались домой.

Мои родители не сочли возможным различить нас в такой вечер — и ушли после концерта с Димулей и Мандолиной.

— Мы хотели, чтобы все осталось, как прежде,— объясняя я по дороге Виктору Макаровичу.— Чтобы вы остались главным дирижером — сидящим или стоящим... А Маргарита Васильевна — вторым дирижером и аккомпаниаторшей. Мы только этого и хотели!

— Во-первых, есть средства, которые могут убить благородную цель... — медленно произнес Виктор Макарович.— Это ты запомни на всю свою жизнь. Чтобы когда-нибудь тебе не сказали, что «благими намерениями дорога в ад вымощена». А во-вторых... — Он так понизил голос, что я еле расслышал: — Во-вторых, я любил Маргариту Васильевну.

— Её! — Я оstanовился от неожиданности.— Наверно, давным-давно! Когда вы еще молодыми были!

— Неважно, когда это было. Важно, что было.

— И прошло?

— Прошло — не значит кануло, Мишенька. Это во-первых. А во-вторых... Что-то я сегодня все раскладываю по полочкам... Видимо, потому, что ты задаешь слишком много вопросов.

— Почему же вы на ней не женились?

— Это сделали до меня.

— А она... вас!..

— Она любила со мной работать. И, если говорить словами Дирдмо, не думала о своем собственном творческом лице. Теперь, наконец... Это в какой-то степени было моим долгом.

— Может быть, вы уходите из-за этого?

— Из-за «неправильного обмена»?.. Но нет хуже без добра, как говорят. Пойми: она была в моей жизни целой эпохой. Ты скажешь: прошлой эпохой. Но прошлое и будущее — разные вещи. Вообще помнить всегда лучше, чем забывать, Мишенька. Плохое иногда еще можно вычеркнуть. Но хорошее... — он помолчал, потер ногу.— Тот, кто не помнит вчерашнего, тот и сегодня забудет... А на самом деле, позавчера и послезавтра в жизни неразделимы!

Виктор Макарович заметно устал. Но, мне показалось, не оттого, что у него были больные ноги, а от своих мыслей. Мы с ним присели.

— Если из книги, Мишенька, выбрасывать прочитанные страницы и главы, вся книга рассыплется. Впрочем, вернемся к Дому культуры... — сказал он. А сам вернулся к Маргарите Васильевне.— Сколько

черновой работы она брала на себя! А лавры в основном доставались хору и мне. Говорят, что в один из самых страшных кругов ада... того самого, дорога к которому вымощена твоими рухнувшими намерениями, попадают «предатели своих благодетелей». То есть люди, не помнящие добра... Не будем принадлежать к их числу, Мишенька!

— Не будем!.. Я вот вас никогда не забуду!

— Спасибо тебе... Память может продлить человеческую жизнь. Ты понимаешь? Даже угасающую или давно угасающую...

Мы помолчали. Потом я сказал:

— А моя мама помнит все даты в жизни наших родственников и знакомых. И всех поздравляет. Я даже смею над ней.

— А что тут смешного?

— Все и всех помнить?.. Это надо иметь такой склад! — Я постучал пальцем по голове.

— Память не склад и не хранилище... — возразил Виктор Макарович.— Это — святые писания... Прости за громкое слово.

Мы еще помолчали.

— Хорошо, что Дирдом ничего об этом не знает,— сказал я.— А то бы он не назначил Маргариту Васильевну дирижером... с таким удовольствием.

— Может быть.

— А детей у вас никогда не было? — спросил я.

— Я всю жизнь был таким многодетным отцом в нашем Доме культуры, что построить свой собственный дом... не успел как-то... А Маргарита Васильевна заплакала, когда узнала, что я должен уйти.

— Заплакала? Она! Не представляю себе.

— Тем дороже для меня это событие!

Мы поднялись со скамейки и пошли дальше.

— Но вот что мне поможет отыскать... как говорится, новое место в жизни? — ни к кому не обращаясь, сказал Виктор Макарович.

Как раз один из замечательных особенностей моей мамы состоит в умении отыскивать то, чего другие найти уже не надеются: достать какое-нибудь редчайшее лекарство, или принести друзьям книгу, изданную лет сорок назад, или разыскать борские костюмы для самодельного спектакля, хотя спектакли про бояр в городе вообще никогда не шли. Она может починить пробки вечером, когда уже все пригостились сидеть в темноте, потому что у монтера рабочий день кончился.

— Яшла выход из положения! — через несколько дней сообщила мама.

Мы с папой притихли.

— Я вспомнила, что в Доме культуры «Горизонт» был детский ансамбль. В него входили и хор, и хореографическая труппа, и струнный оркестр. А в ансамбле, кроме дирижеров, балетмейстеров и прочих, был еще и художественный руководитель. Он все объединял. Вы помните?

Мы с папой не помнили этого, потому что мама увлеклась в ту пору драматическим кружком и никакие другие самодельные коллективы нас не интересовали. Альбом «Мама в роли» относился как раз к тому времени.

— Так вот... мы с Лукьяновым придумали, как уредить эту должность в нашем Доме культуры! Дирдом уже знает... Потому что должен подготовить кое-какие бумаги. Я и имя ансамблю придумала: «Звезды кострами!». Лукьянов одобрил. Конечно, не в имени дело. Надо пробить штатную единицу! Я объяснила Лукьянову, что это нужно для дела. Он быстро изучил вопрос и сказал, что «практически это возможно». Художественный руководитель ансамбля «Звезды кострами!». Звучит, а? Ну-ка, Миша, выйди и объяви!

Я вышел на середину комнаты, сделал свое лицо открытым и приятным и произнес:

— Начинаем концерт ансамбля «Взвейтесь кострами!...» Художественный руководитель — Виктор Макарович Караваяв! Дирижер — Маргарита Васильевна... Я не помню ее фамилию.

— Все равно прозвучало очень красиво, — сказала мама. — Да, Лукьянов у нас голова! Сразу вошел в контакт с профсоюзами. Все поставил на деловую основу. Я думаю, дней через пятнадцать наш проект осуществится.

— Я был уверен, что мама отыщет выход, — сказал отец. — Если надо помочь, для нее не существует непреодолимых джунглей и лабиринтов!

Когда маме удастся в очередной раз «починить пробки» (так у нас дома называются все мамины действия, связанные с починкой, помощью и розысками), отец всегда выглядит именинником. Он бывает счастлив и оттого, что мама что-то исправила, кому-то помогла, но главным образом, мне кажется, оттого, что мама опять проявила себя одаренной натурой, чем он так гордится.

— Только не повторяй моей обычной ошибки: не рассказывай об этом Виктору Макаровичу раньше времени, — продолжала мама. — Ты знаешь, что я суеверна!

— А мне кажется, надо ему сказать, — возразил папа. — Пусть знает, что кто-то волнуется за него, хлопочет... Сам этот факт будет ему приятен. Для него важны не только результаты наших усилий, но и наши намерения. Он понимает, что результаты могут от нас не зависеть...

— Говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена! — сказал я.

— Это когда благие намерения осуществляются не благими средствами, — ответил отец.

— Как раз это и было...

— Когда? — удивился отец.

Я не ответил на его вопрос. Вместо этого я воскликнул:

— Сейчас же надо сообщить Виктору Макаровичу! Чтобы он не страдал ни одного лишнего часа. Мама с Лукьяновым своего добьются. Я абсолютно уверен!

— И я, — сказал папа.

Виктора Макаровича дома не оказалось. К двери была приколотая записка: «Я у Димули». Значит, он ждал кого-то...

Не кого-то, а только меня! Потому что только я знал, что Димулю зовут Димуйей.

Я ринулся обратно к своему дому. Ведь Димуля, Римма и Мандолина жили в соседнем подъезде. Дверь мне открыл Володька.

Он не упал в обморок от радости, что увидел меня. Он посмотрел так, будто я приходил к нему каждый день в это самое время. У меня же вид был, наверно, такой торжественный, я так горел нетерпением, поскорей рассказать всем мамину новость, что Володька спросил:

— Что с тобой?

— Ничего... Сейчас узнаешь.

— Проходи, — сказал он. — Есть хочешь?

И пошел на кухню.

— Куда ты?! — воскликнул я. — Сначала послушай...

— Подожди немного. У меня пригорит...

Мандолина был хозяйственным парнем.

Перед первым отчетным концертом он очень волновался, конечно, но все же заметил, что у Лешки из средней группы на куртке оторвана пуговица.

— Хочешь, пришью? — спросил он.

— А нитки с иголкой?

— Найдутся.

Оказалось, что у Маргариты Васильевны действительно есть и то и другое.

— А пуговица? — спросил Лешка.

— От заднего кармана брюк оторвал. Там никто не увидит.

Он оторвал и пришил.

Когда я сообщил об этом маме, она сказала:

— Значит, в будущей своей семье он будет играть те же две роли, которые я исполняю у нашей.

— Какие две? — спросил я.

— Мужчины и женщины!

Володька не любил восклицаний и суесть. Когда его вызвали на «бис», он вышел так, будто ребята из нашей школы не надрылись и не выходили из себя от восторга. Казалось, он был наедине со своей мандолиной. Сел, снова склонился над ней, как над ребенком, и во второй раз заиграл «Дунайские волны».

Я, конечно, не сказал ему о том, что наша школа выполняла данное мне обещание. Он бы этого не простил...

Мне хотелось, чтобы в момент, когда я буду объявлять свою новость, все были в сборе. Поэтому я подождал в коридоре, пока Володька не появился с огромной кастрией в руках.

— Будем есть суп, — сказал он. — Есть хочешь?

— Сейчас вам будет не до еды. Не до супа! — сказал я. — Вот если бы было шампанское!

Володька взглянул на меня с недоумением.

— Потерпи! Сейчас узнаешь! — сказал я. Хотя знал, что Мандолина был очень терпелив и мог ждать, сколько угодно.

Мы вошли в комнату...

Виктор Макарович и Димуля на диване играли в шахматы.

— Мишенька! — воскликнул Виктор Макарович. — Как раз я выигрываю.

— Хотя бы раз мне удалось не проиграть! — с досадой, поглаживая свою круглую голову, сказал Димуля.

— Сегодня мы все победили! — сказал я.

— Кого? — спросил Виктор Макарович.

— И ваш консилиум... И Дирдому!

— Что ты имеешь в виду?

— Будет создан ансамбль «Взвейтесь кострами!...». А у ансамбля будет художественный руководитель. Догадаетесь, кто? На фотографии мы видим сейчас его спину! — Все уставились на фотографию. А я продолжал: — Художественный руководитель не должен сидеть и не должен стоять — он должен только руководить!

Володька поставил кастрию на стол так тяжело, что я понял: моя новость произвела на него впечатление.

— Осталось только выбить штатную единицу. Ее выбивают Лукьянов и моя мама. Так что можно не сомневаться!

Все молчали.

— А Маргарита Васильевна будет дирижировать... — сказал я.

И тут понял, что поговорка «как гора с плеч» очень точная.

Виктор Макарович встал, распрямился.

— Если так... — сказал он. — Если так...

И заходил по комнате.

А я ходил за ним и объяснял, что если Лукьянов и мама за что-нибудь берутся, можно быть абсолютно спокойным.

Как это хорошо! Как хорошо! — повторял Димуля. — Значит, и Володя останется... А то директор говорит: «Когда исправившей тройки по математике, тогда и будешь играть...» А если он их никогда не исправит!

— Не в этом дело,—пробурчал Мандолина.
— Я твой отец... Я за тебя радуюсь. Надо Римме позвонить. Рассказать...

Он поднялся с дивана...

— Суп остынет,—остановил его Мандолина.

— Хозяйственный он у тебя!—похвалил Виктор Макарович. Ему хотелось говорить людям приятное.

— Если быть объективным...—начал Димуля.

Володька сразу вспомнил, что ему что-то нужно на кухне. И вышел.

— Очень заботливый!—повторил Виктор Макарович.

— Мать часто в больнице. Так что приходится...

— А вот пусть Римма...—начал я и приостановился.

— Григорьевна,—подсказал мне Димуля.

— Пусть Римма Григорьевна расскажет этому вашему соседу... Сама пусть расскажет! Тогда все во дворе...

— Она говорила. А он в ответ: «Что же еще мать может сказать о своем сыне!» Даже вспомнил какую-то старую притчу. В ней сын, стараясь доказать одной жестокой девочке свою любовь, вырывает у матери из груди сердце. Бежит с ним, спотыкается, падает... А сердце спрашивает: «Мой сын, не больно ли тебе?»

— До чего же люди иногда умеют видеть в других только то, что хотят видеть!—сказал Виктор Макарович.—И статьи тянут себе на помощь и старые притчи...

— Я думаю, они просто не любят музыку. Мандолина их раздражает... Не Володька, а инструмент,—застенчиво согласился Димуля.

Он махнул рукой и ушел в коридор звонить по телефону.

Володька тут же вернулся. И разлил суп по тарелкам.

Когда человек волнуется, у него нет аппетита... Мандолине было неудобно напоминать, что суп стыл. А мы с Виктором Макаровичем стояли и смотрели на фотографию, на которой Дима и Римма пели.

— Почти для всех них это было вроде игры...—неожиданно сказал Виктор Макарович.—Но я всегда думал: человек, который любит песни, не может быть злым человеком. Это для меня было главным... Давать-же и мы устроим игру! Поскольку все хорошо, что хорошо кончается. Вот сейчас Димуля вернется и тогда...

Димуля вернулся и сказал, что дежурная медсестра уже направила с Римме в палату с радостным сообщением.

— Я предлагаю устроить концерт,—сказал Виктор Макарович.—И чтобы каждый исполнял привычную для себя роль. Ты, Мишенька, объявляй. Я буду дирижировать, Димуля по старой памяти будет петь, а Володя—играть на мандолине...—Он обратился к Володьке и его отцу:—Ведь наверняка исполняли что-нибудь вместе?

— Было...—сознался Димуля.—Мы с Риммочкой в два голоса, а Володя аккомпанировал. Но так... для себя.

— Что же вы пели?

— Вспоминали репертуар нашего хора. Ну, вот гурилевский «Колокольчики», к примеру...

— Прекрасно! Володя, бери мандолину!—Володька взял.—Мишенька, на авансцену!

Второй раз в этот день мне предлагали вести себя дома, как на концерте.

— Доставлять радость одному человеку или целому залу—большой разницы нет. Была бы, Мишенька, радость,—сказал мне как-то Виктор Макарович.—Настоящий артист никогда не откажется

выступать из-за того, что нет полного сбора. Даже если пришло всего несколько зрителей, он выйдет на сцену. Они же не виноваты!

Передо мной были три зрителя и одновременно—три участника. Я сделал свое лицо еще более приятным и открытым, чем это было сегодня дома, и объявил:

Композитор Гурилев... «Колокольчики»!

Виктор Макарович по-настоящему, как на концерте, взмахнул руками. Володька склонился над мандолиной и стал баянчать ее.

Димуля запел застенчивым, нежным голосом:

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылитесь слегка...

Я переводил взгляд с фотографии на Димулю. Я люблю по фотографиям наблюдать, как с годами меняются лица людей. Но выражение лиц с годами почти не меняется. По крайней мере у Димули характер остался тот же...

После того, как мне стало ясно, что Виктор Макарович никуда не уйдет, я полюбил Маргариту Васильевну. А она, мне кажется, полюбила меня. Потому что знала, что это моя мама вспомнила про Дом культуры «Горизонты», где был детский ансамбль и художественный руководитель.

Раньше я не очень хорошо представлял себе, как Маргарита Васильевна разговаривает на обычные, человеческие темы. В моем присутствии она произносила лишь те фразы, которые имели непосредственное отношение к религицизм или концертам: «Мы можем начинать, Виктор Макарович?» «Ты, Миша, произносишь фамилию Мусоргский так, будто это твой товарищ по школе. Никакого благоговения... С гениями так обращаться нельзя!»

И вдруг она изредка начала улыбаться, чего я раньше почти никогда не видел. А один раз даже потрепала меня за волосы. Я наклонил голову, чтобы ей удобнее было трепать. Такое я получаю удовольствием!

— А ловко ты это придумал—сорвать мой дебют!—сказала она.—Значит, ты любишь Виктора Макаровича?

— Мы все его любим,—ответил я и пристально на нее посмотрел... А? Разве не так?..

Но она опять стала, как говорится, непроницаемой.

В тот день у нас была религицизм концерта «Перелистаем страницы опер!». Эту программу придумала Маргарита Васильевна. Наши ребята становились к пространным девушкам из «Евгения Онегина», то охотниками из оперы «Волшебный стрелок», то свитой грузинского князя из «Демона», то казаками из «Тихого Дона»...

Все эти песни наш хор исполнял и раньше, при Викторе Макаровиче. Но Маргарита Васильевна объединила их все в отдельную программу. И сочинила пояснительный текст, который я должен был произносить.

Маргарита Васильевна говорила нам, что нет, по моему мнению, профессии «певца», а есть профессия «артиста». Только артист обладает даром перевоплощения, которым все участники нашего хора обязательно должны обладать.

— Бывают не артисты, а исполнители арий. Ты не должны брать с них пример,—убеждала нас Маргарита Васильевна.

С тех пор, как Виктор Макарович ушел из хора, сид все время ссылалась на него, цитировала то, что он говорил тридцать лет назад, и двадцать лет назад, и совсем недавно.

— Представте себе, что нас слушает Виктор Макарович! — восклицала она.

Ребята представляли себе это, и Маргарита Васильевна хвалила их:

— Вот так... Совсем другое дело. Вы чувствуете? «Должно быть, раньше она просто не хотела отвлекать наше внимание от Виктора Макаровича», — думай я. — И поэтому вела себя незаметно. Выходит, он действительно чуть-чуть преграждал ей дорогу!»

Особое внимание Маргарита Васильевна уделяла средней группе. Она даже высказала мнение, что Лешка может иногда запевать.

— Вот видишь, — сказала я Лешке. — Как хорошо, что вы не вовремя вступали на отчетном концерте!..

— Сознаться, что ли? — ответил мне Лешка.

— Я уже сознался. Так что запевай абсолютно спокойно!

У нас с Маргаритой Васильевой было хорошее настроение: мы ждали художественного руководителя.

Маргарита Васильевна требовала, чтобы программа на репетиции выглядела точно так же, как на концерте. Поэтому я выходил на авансцену, объявлял номера и произносил объяснительный текст.

Когда я объявил «Ноченьку» из оперы Рубинштейна «Демон» и сказал все, что нужно было, о поэме Лермонтова, которая «легла в основу», в Малом зале появился Дирдом.

— Я пришел, чтобы сообщить вам наипротивнейшее известие! — начал он. Испугался, что мы не поняли, и пояснил: — Если перепрограммировать реплику гордоного из комедии «Ревизор». — Потом он гордо оглядел нас всех. — Только что я подписал приказ о создании ансамбля «Взвейтесь кострами!..». Он органично включит в себя вас, всю нашу хореографию и оркестр.

— Ура! — крикнул я.

Меня поддержала средняя группа.

— Вы на репетиции, — произнесла Маргарита Васильевна, взглянув на меня.

— Продолжайте работать, — сказал Дирдом и удалился.

— Маргарита Васильевна, разрешите мне выйти, — сказала я.

— Но ведь репетиция не окончена.

— Я должен выйти. Простите, пожалуйста...

Она сделала вид, что очень удивлена.

Я вышел из Малого зала и помчался по коридору. Внизу, возле кассы, был автомат... Я должен был сообщить Виктору Макаровичу о том, что мы победили!

Пробежав мимо доски приказов, я притормозил, остановился...

В центре доски висел новенький «Приказ по Дому культуры». Он сообщал о том, что создается пионерский ансамбль «Взвейтесь кострами!..». А во втором пункте было написано: «Художественным руководителем утвердить Евгения Аркадьевича Наливина, заслуженного артиста республики».

— Ты что, уснул? — спросила меня уборщица, подметавшая коридор.

Я десятый или двадцатый раз перечитывал первый пункт приказа. Нельзя сказать, что я не верил своим глазам... Я не верил тому, что это кто-то мог написать, кто-то напечатать на машинке и вывесить в коридоре.

«Как же так? — спрашивал я себя. — Как же так?!»

Я без разрешения вошел в кабинет. Дирдом разглядывал афиши, висевшие на стене.

— Художественным руководителем должен быть стать Виктор Макарович... — сказал я. — Это ведь было решено!

— Кем решено? — спокойно спросил Дирдом.

— Об этом все знали. И мама и я...

— Вы с мамой? — рассмеялся Дирдом. — Вы значили художественного руководителя? Исходя из чего?..

— Виктор Макарович всю свою жизнь... Он сорок лет...

— Стаж работы — это еще не все, — ответил Дирдом. — Исходить надо из интересов Дома культуры. Заслуженный артист, всему городу известный певец credited к детям! Руководит нашим ансамблем!.. Неужели ты не понимаешь, как это прекрасно! Для афиши, для лица нашего Дома, для зрителей!..

— Это невозможно, — сказал я.

— То есть как... невозможно? В коридоре висит приказ.

— А Наливин? Неужели он согласился?!

— Я ему объяснил. И он понял. В отличие от тебя... Искусство — жестокая вещь.

— Это вы — жестокая вещь! — сказал я.

Дирдом испугался. Наверно, у меня было такое лицо... Он ничего не ответил, не выгнал меня из комнаты.

— Но ведь Наливин сказал, что не хочет работать с детьми. Я сам слышал...

— Он пошутил. Кто же не любит детей? Ты пойми... Виктор Макарович — это пройденный этап. Будущее — за Наливиным!

— Потому что он заслуженный?..

— З а с л у ж е н н ы е заслуженный! Как сказал Виктор Макарович, которого я уважаю не меньше, чем ты. К тому же и молодой! Или, как говорят, «перспективный». На таком и меня наш «Костер» взорвется гораздо выше и ярче.

Очень довольный последней фразой, Дирдом как бы опять проглотил стакан сладкого морса и заулыбался.

— Но Наливин собирался идти туда, где учат... вокалу. Я сам слышал.

— На наше счастье, там не оказалось вакантного места!

— А Лукьянов?

— Откуда ты знаешь Лукьянова? — Дирдом внимательно взглянул на меня.

— И он согласился!

— Он всегда исходит из интересов дела. А откуда ты его знаешь?

Мне казалось, что ждать нельзя, что дорога каждая минута. Как будто речь шла о спасении тяжелобольного. «Надо разыскать маму и папу! Немедленно!..» — решил я. И выбежал из кабинета.

Бухгалтерия находилась на втором этаже Управления строительством, а отец работал на третьем. Но я не только поэтому решил сперва побегать к маме.

Просто я знал, что она-то уж не растеряется и найдет выход из положения. И потом... в трудные минуты мама всегда умеет взять себя в руки. «Соберись!» — как говорит отец.

«Этого не может быть!» — рассуждал я сам с собой по дороге... Мама придумала все это ради того, чтобы Виктор Макарович... не уходил, не расставался с нами. Разве сможет Наливин!.. Но он согласился! А Виктор Макарович обнаружил у него голос... Наливин сам говорил. Называл учителем... Он, должно быть, не знает, что в ад попадают



«предатели своих благодетелей». Люди, не помнящие добра... Но не в этом дело! Надо исправить... Пока Виктор Макарович не узнал!»

Нужен был пропуск. И стал звонить снизу... Но телефон бухгалтерии, конечно, был занят.

И вдруг я увидел маму. Она шла как ни в чем не бывало, держа в руках пачку бумаг.

— Что случилось? — спросила она, заранее беря себя в руки.

— Вывесли приказ! Его Дирдом написал... Художественным руководителем будет Наливин!

— Что? Что?!

— Наливин... Он согласился! Дирдом ему объяснил, что это хорошо для фирмы. А Виктора Макаровича... мы обманули.

— Не повторяй моей обычной ошибки. Не паникуй раньше времени!

На самом деле мама никогда не впадает в панику. Просто в последнее время она все чаще стала приписывать себе то, чего я, по ее мнению, не должен был делать.

Маме кажется, что до меня быстрее дойдет, если я буду знать, что она испытала эти ошибки на себе самой и сама убедилась в их ужасных последствиях.

— Надо идти к Лукьянову, — сказала мама. — У него совещание. Но это неважно. Пойдем... Ты скажешь свое мнение от имени хора!

— И папу захватим.

— Он разволнуется. А впрочем...

Отец переводил взгляд с мамы на меня, будто спрашивал: «Правда ли это?»

— А Лукьянов разве не знал? — уже вслух спросил папа. — Ты не говорила ему о Викторе Макаровиче?

— Говорила... Но не акцентировала на этом. Я знаю Лукьянова. У него свои принципы. Ставку надо было выбивать не ради определенного человека, тем более пенсионного возраста, а ради дела. Но ведь другой кандидатуры и не было!

— Идем к нему! — решительно заявил отец и пошел вперед, хотя обычно в таких случаях нас за собой ведет мама.

У Лукьянова шло совещание.

— Я загляну, — сказал папа.

Секретарша как бы защитилась от него обеими руками:

— Ну, это уж на вашу ответственность!

Через минуту Лукьянов вышел в приемную.

Как я и предполагал, он был высоким, стремительным. Лицо его было не просто приятным и открытым, как у меня на концертах, но еще и красивым. И загорелым...

— Что такое? — не здороваясь, спросил он.

— Надо вам рассказать... — начала мама.

— Это срочно?

— Да! — сказал я.

Он взглянул на меня с удивлением, но даже не спросил, кто я такой.

— Давайте!

Он распахнул дверь, которая была напротив его кабинета.

— В чем дело?

Речь идет о художественном руководителе ансамбля, — сказала мама.

— Этот вопрос решен положительно.

— В том-то и дело, что нет!

— Как не? Единица утверждена.

— Но персональное назначение... неверное, — продолжала мама. — Утвержден не Виктор Макарович, а другой человек.

— Ну, в такие детали я вникать не могу...

Тут произошло неожиданное: папа повысил голос.

— Нет, вы прекрасно знаете, что любой проект, любая машина состоят из деталей. И вы постоянно вникаете... Но и художественное произведение и человеческая жизнь — все, все состоит из деталей!

— Директор Дома сообщил мне вчера, что Виктор Макарович сам решил отдохнуть. Что ему врачи запретили...

— Дебет с кредитом явно не сходятся! Он обманул вас, — сказала мама.

Отец передвинул письменный прибор на столе.

— Тот же самый директор Дома сказал, что Виктор Макарович — уже «пройденный этап». Это — ваше любимое выражение. Но человек не может быть пройденным этапом! — Отец решительно вернул письменный прибор на прежнее место. — И вообще я должен сказать... Что значит «пройденный этап»? Наша с вами жизнь покоится на «пройденных этапах». Как на фундаменте! Не надо быть строителем, чтобы знать: без фундамента здание рухнет.

Недавно я слышал что-то очень похожее. Но Виктор Макарович говорил о книге, а отец о фундаменте. Потому что был инженером.

Лукьянов папу не узнавал.

— А я держал вас за чересчур деликатного человека. Это мне нравится!

Отец многие считают чересчур деликатным.

«Папа немножко недопонимает», — говорит папа в тех случаях, когда я вообще ничего не понимаю. Например, если он помогает мне решать математические задачи. «Вот видишь, как у тебя все получилось!» — говорит он. А на самом деле, получилось — не у меня, а у него. «Это не совсем так», — говорит папа, когда что-нибудь совсем уж не так. Он умеет подсказывать, вроде бы не подсказывая. Так бывает и с моими задачами и со звонками Лукьянова.

— Вот видите, как вы отлично придумали! — говорит он Лукьянову по телефону.

— Это же ты придумал, — возражает мама, когда папа вешает трубку.

— Он и без меня все это знает.

— Знал бы, так не звонил...

И возражает папа людям так, что кажется, он просто дополняет их собственные мысли.

А тут он почти кричал. И на кого? На Лукьянова!..

— Разве можно не ценить людей, которые уже сыграли свою роль, выполнили, так сказать, свою функцию? — продолжал папа. — Так, простите, и мать с отцом недолго вычеркнуть из памяти. Они ведь тоже выполнили свои функции: родили нас, подняли на ноги. Оглянуться назад — вовсе не значит отступить! — Лукьянов продолжал не узнавать его. — А Виктор Макарович мог бы еще долгие годы исполнять свою роль. Назвать его «пройденным этапом»!

— Это не я назвал, а директор Дома культуры. — Лукьянов оправдывался перед отцом! — Виктора Макаровича я давно знаю. Очень давно! Я пел у него в хоре.

— Вы... пели? — переспросила мама.

— Недолго. Певцом я не стал. Так что практически это не имело значения.

— Это не могло не иметь значения, — сказал папа. — Не надо делать вид, что мы появились на свет такими же, какие мы с вами сейчас. Все имело значение! Мы часто слышим: «Никто не забыт, и ничто не забыто!» Разве это должно относиться только к военным подвигам? По-моему, ко всему доброму, что делают люди... Я это давно вам хотел сказать.

— Вот и сказали, — ответил Лукьянов.

— Но как же, если вы пели... можно было не позвонить Виктору Макаровичу? Не проверить? — спросил отец.

— Вы знаете, какие сейчас напряженные дни! — ответил Лукьянов. — У меня на календаре... там, в кабинете, записано: «Позвонить Каравасеву». Хотел узнать о здоровье. В таком вот плане. Потому что директор Дома меня заверил... Лукьянов зашагал по комнате. — Давно я не видел Виктора Макаровича. Должно быть, лет двадцать. В Дом культуры хожу главным образом на совещания. Времени нет. К сожалению... Лукьянов остановился. — А он-то что же, не мог о себе напомнить?

— Неудобно, наверное... напоминать, — сказала мама.

— У меня тоже одна голова! И в ней иногда не хватает места...

— Сердце в этом смысле гораздо вместительней, — уверенно сказал папа.

— Да, понимаю. — Лукьянов сел за стол, на котором стояли целых три телефона. Он уже не был таким напряженным, стремительным. И хотя в кабинете у него шло совещание, он как будто не торопился. — Нехорошо получилось...

— Дирдом во всем виноват! — крикнул я.

— Кто?

— Директор...

— Дирдом!! — Лукьянов громко захохотал. — Это мне нравится! Очень подходит... Я думаю, еще не поздно переиграть!

Лукьянов нажал на кнопку. Вошла секретарша, и он сказал, чтобы она соединила его с Дирдомом. Я думал, что Лукьянов будет кричать на Дирдомом, стучать по столу. Но он не кричал.

Не подозревая, он тихо и четко произнес:

— Вы явили меня в заблуждение, Виктор Макарович мог остаться! — Дирдом что-то ответил. — Консилиум? — Дирдом опять что-то сказал. — Сейчас у меня нет времени. Потом я выйду во все детали. А пока отмените приказ... То есть как — поздно? Дирдом что-то объяснял.

Ничего больше не сказав ему, Лукьянов повесил трубку.

В сегодняшней вечерней газете будет заметка: «Добрый почин. Из театра — в самостоятельность. Заслуженный артист приходит к детям!» Или что-то в этом роде, — сообщил он. И взглянул на часы. — Уже пять. Газета печатается.

— Виктор Макарович говорил: «Я счастливый человек: никогда не расстаюсь с детством!» Теперь, значит, придется расстаться... — сказала мама.

— Ни в коем случае! — Лукьянов поднялся. — Мы найдем другое место.

— Другого места для него быть не может, — сказала мама.

— А не вернуть ли его на прежнюю должность? — Дирижером? Там ведь Маргарита Васильевна... осмелился возразить я.

— Она вернется на свое прежнее место.

— Виктор Макарович не согласится.

— Почему?

— Я вам не могу... объяснить...

Лукьянов почему-то поверил мне.

— Надо пораскинуть мозгами! — По примеру отца он чуть не смахнул на пол письменный прибор. И обратился к маме: — Вы зайдете ко мне завтра по этому вопросу. — Потом обратился к отцу: — А вы зайдите сегодня. По поводу третьего цеха... Надо пораскинуть мозгами!

Он ушел к себе в кабинет, так и не поинтересовавшись, кто я такой. Может быть, он догадался?

— И все-таки я люблю его, — сказал папа. — Он — голова.

— А душа?.. — тихо спросила мама.

— И душа есть. Только ей иногда себя проявлять...

Когда я вечером пришел к Виктору Макаровичу, он уже все знал.

— Откуда?.. — спросил я.

— Мне позвонил Петя Лукьянов.

Своих бывших учеников он называл так же, как называл раньше, когда они были детьми.

— Но почему же вы не сказали нам, что Лукьянов пел у вас в хоре?!

— Он сам об этом никогда не вспоминал... Я думал, что эта страница биографии ему почему-либо неприятна.

— Неприятна? Ничего подобного! Просто он не стал певцом. Значит, практически это для него не имело значения!

— Он был очень способным мальчиком. Не у меня... а потом. Победжал на математических олимпиадах. Я на него не сержусь.

— А на этого певца?..

— На Женю Наливина? — Виктор Макарович помолчал. — В ошибках учеников, вероятно, и учителя виноваты.

— Ну, уж нет! — возмутился я. — Только он виноват. Только он! И еще Дирдом...

— Хорошо, что Маргарита Васильевна дирижирует хором, — неожиданно сказал Виктор Макарович. — Она все сбережет... Я уверен.

— Сбережет! Она сбережет! — закричал я. — А с этим художественным руководством... Лукьянов сказал: «Нехорошо получилось». Он хотел все абсолютно переиграть. Но опоздал...

— Это было бы невозможно, — сказал Виктор Макарович.

— Почему?

— Ну, во-первых, Женя Наливин — мой ученик. А, во-вторых, победа за чужой счет... это почти поражение. — Он подошел к окну. Мне показалось, для того, чтобы скрыть от меня лицо. — Кажется, пора подводить итоги...

— Ни за что! — закричал я. — Ни за что... Лукьянов с мамой еще такое придумают! А вы пока отдохните... Вот если бы мне предложили сейчас отдохнуть, я бы счастливеем человеком! А помните, вы сочинили две песни? Они ведь имели огромный успех. Еще сочините! А мама напишет текст. Она сейчас как раз в литературном кружке!

— Добрый ты мой «объявляла», — сказал он, не отрываясь от окна.

Вадим Шефнер



Венчанье

Ни строчки о войне
Нет в книжке у поэта:
Убит он на войне
Под Кингисепом где-то.
...Лишь строки мирных лет
О девушке, о лете —
А девушки той нет:
Погибла в сорок третьем.
...Могильная трава
Копышется над вами,
Но тихие слова
Прошли сквозь гром и пламя.
От этих мирных слов,
От скромных упований
Протянется чей-то вздох,
Кому-то жизнь желанней.
Не ждет вас общий дом,
Не ждет от вас известий,
Но вы вдвоем, вдвоем,
В стихах — навеки вместе.

Счастье

Идем за надеждою вслед,
За древней скрипучей арбою...
А счастье не там, где нас нет,
А там, где мы рядом с тобою.

В судьбу к нам оно не влетит
Книжливой и пыльной жар-птицей,
Но вплавлены в будничныи быт
Его золотые частицы.

Размышление

Пойми: не в том бессмертие, не в том,
Чтоб уцелеть из многих одному,
А в том, что в донь, когда покинешь дом,
Не станет пусто в мире и в дому.
Как прежде, будет колоситься рожь
И вздрагивать на стрелках поезде,
И город тот, в котором ты живешь,
Не сдвинется, не канет никуда.
Весь этот мир, что на короткий миг
Открыли для тебя отец и мать,
Весь этот мир — бессмертный твой
Останется навек существовать.

двойник —

Бочка

Надежды громоздкую бочку
Катил я с давнишней поры
На эту наивысшую точку
Вот этой высокой горы.
Все было — сомненья, страдания,
И зной, и холодная дрожь,
Но трудное самозадание
Под старость я выполнил все ж.
— Эй, музы! Готовьте посуду!
Готовьте столы и цветы!
Я с вами застольничать буду,
Я с Вечностью чокнусь на «ты»!
...Никто отозваться не хочет,
Лишь ветер гудит в борозде.
Полно здесь полнехоньких бочек,
Где ж гости! Хозяева где!

Зарытый канал

Я с вокзала иду, как бывало,
Я ступаю на старенький мост;
Он теперь над зарытым каналом
Будто странный, ненужный нарост.

Вспоминаю, что было и сплыло,
Необъятное силось объять
И невольно гляжу за перила:
Вдруг себя там увижу опять.

Сколько тысяч моих отражений
Там осталось в зарытой воде...
Неужели теперь, неужели
Нет меня уже больше нигде!

...Торопясь под вокзальные своды,
За перилами, вровень со мной,
Молодые идут пешеходы
По утопанной тверди земной.

Иносказание

Не застраивай летного поля,
Хоть пустынно и голо оно.
Не застраивай летного поля,
Ведь другого не будет дано.

Пусть жалеет, сочувствует кто-то,
Пусть другим твоя бедность смешна,
Но тебе для разгона, для взлета
Только ровная местность нужна.

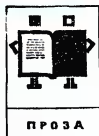
Обычный сон

Никто не скажет, почему во сне
Вдруг возникли рощи и обрывы,
И давний враг, как друг, пришел ко мне,
И был я то несчастным, то счастливым.

И мой двойник со мною говорил,
Подсказывал таинственные числа,
И вел меня мостами без перил
Над безднами — без умысла и смысла.

Был так обычно необычен сон,
А мудрый опыт шлепал в самоволке,
И сам в себе был разум отражен,
Как в зеркале, разбитом на осколки.

БОРИС
ВАСИЛЬЕВ



В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

РОМАН

I



Рисунки
Саввы БРОДСКОГО.

Часть третья

Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх — путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них — впереди, и пути их надолго разошлись.

Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые, метровой кладки стены, склад засыпало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины вырыли его, взломав пол, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать: они во все стороны, наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра.

Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они вылезали из подземелья — все шестеро — и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению.

Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо. И неизвестно. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы.

— Хана, — прохрипел Федорчук.

— Разведка нужна, — сказал старшина. — Куда идти, где они, наши?

Тетя Христа плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мирра прижалась к ней; от трупного смрада ее душили слезами. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор.

— Аня! — окликнул Степан Матвеевич. — Куда ты, Аня?

— Дети, — она на секунду обернулась. — Дети там. Мои дети.

Анна Петровна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье.

Окончание. Начало см. в № 2 и в № 3 за 1974 год.

А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванной немецкими саперами и вздыбленной многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и вошла на мост, еще скользкий от крови, еще заваленный трупами, и упала здесь, среди своих, в трех местах простреленная случайной очередью. Упала, как шла: прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых.

Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземелье, ни тем более лейтенант Плужников.

Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад — тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников, — он увидел новенькие, тусклые от смазки автоматы, полные диски и запечатанные, не тронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией.

К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик над щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забрал с собой: каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца. Женщины оставались в подземелье.

— Вернемся, — сказал Плужников.

Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто — с уважением и готовностью, кто — со страхом, кто — с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы, заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке.

Только раз старшина негромко вмешался: — Убери все. Сухарь ему и кипляту стакан.

Это когда сердобольная тетя Христа выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукава, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загордил стол.

— Убирай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Теперь понемногу надо — живот заново приучать надо.

Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся.

Как только стихло, он вместе с молодым человеком, испуганно-молчаливыми бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо.

— За мной. И не спеши, слушай сначала.

Они облезали все воронки, проверили каждый завал, ощупали каждый труп. Сальникова не было.

— Живой, — с облегчением сказал Плужников, когда они спустились к своим. В плен увели: наших убитых они не закапывают.

Все же он чувствовал себя виноватым, виноватым не по разуму, а по совести. Он восвал не первый

день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль и то, что в мирной жизни считается недопустимым, а бою бывает просто необходимым. Но, понимая, что не мог спасти Сальникова, что должен был, обязан был — не перед собой, нет: перед теми, кто послал его в этот поиск, — попытаться уйти и ушел, Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везунчик, неунывающий Сальников выживет, выпутается, а может быть, и убежит. За дни и ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца. И Плужников вздохнул облегченно: «Живой!»

Они накатали в тупичок под щель много оружия и боеприпасов: прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим зараз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернется, но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нерничать. Оставалось решить еще один вопрос, решить безотлагательно, но как подступить к нему, Плужников не знал.

Женщин нельзя было брать с собой на прорыв: слишком опасной и трудной даже для обстрелянных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять их здесь на произвол судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни придумывал, выход был один.

— Вы останетесь здесь, — сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. — За два дня — у немцев с четырнадцатью, до шестнадцати обед, самое тихое время, — завтра выйдете наверх с белыми тряпками. И сдадитесь в плен.

— В плен? — тихо и недоверчиво спросила Мирра.

— Еще чего выдумал! — не давая ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христа. — В плен — еще чего выдумал! Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочку? — Она обняла Мирру, прижала к себе. — С сухой-то ножкой, на деревяшке!.. Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать, будет!

— Не дойду я, — еле слышно сказала Мирра, и Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен.

Поэтому он не нашелся сразу, что возразить, и угромо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин.

— Ишь, чего выдумал! — иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христа. — Негодное твоё решение, хоть ты и командир.

— Нельзя вам тут оставаться, — неуверенно сказал он. — И было решение командования, все женщины ушли...

— Так они вам обузой были, потому и ушли! И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Мирочкой помешаем, в море-то нашей? Да никому, войдете себе на здоровье! А у нас и место есть и еда, и никому мы не в обузу, и отсидимся тут, покада наши не вернутся.

Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий.

— Девчонка-то — жидовочка, — вдруг сказал Федорчук. — Жидовочка да калек — прихлопнут они ее, как пить дать.

— Не смейте так говорить! — крикнул Плузников. — Это их слово, их! Фашистское это слово!

— Тут не в слова дело, — вздохнул старшина. — Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации.

— Знаю! — резко оборвал Плузников. — Понял. Все. Остаегесь. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь.

Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше внутренне протестовал, но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх вслед за посланным в разведку Васей Волковым.

Волков был паренком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны — ужас заживо погребенного, — он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших и внезапное появление лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его, Волкова, жизнь. Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы.

А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не дожидаясь, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрался на поверхность, немцы уже прошли, и Плузников ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен.

— Волков со мной, старшина и сержант — замыкающие. Быстро вперед!

Принувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска к «детирию». И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди.

— Подорвали! — крикнул Плузников. — Немцы стену подорвали!

На голос ударил пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плузников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился:

— Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись!

— Пусти! Там ребята, там патроны нет, там раненые...

— Куда пустить-то, куда?

— Пусти!

Плузников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отступил только тогда, когда Плузников перестал рваться.

— Поздно уже, товарищ лейтенант, — вздохнул он. — Поздно. Послушай.

Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы: то ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как Плузников ни вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и Плузников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа.

Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать.

— Обходять. — Федорчук подергал старшину. — Отрежут еще. Убили этого, кто ли?

— Помоги.

Плузников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала:

— Это ваша шинель, товарищ лейтенант, помните?

Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.

Он не знал, сколько суток лежит вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать. Днем и ночью в подzemелье стояла могильная тишина; днем и ночью тускло светили жировые лампы; днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плузников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен.

С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался, не колеблясь, не раздумывая, дайگاهی чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плузников не пытался сейчас понять, почему все они — все, погибшие по его вине, — поступали именно так: он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспечно.

Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собиравшийся с силами: это было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в его окно, а его быющую навстречу смерть кинулся не он, а тот пограничник с неостышим ручным пулеметом. И потом — ужас мертвый — он продолжал прикрывать Плузникова из пули, и его загустевшая кровь била Плузникову в лицо, как напоминание.

А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и не ушел, не отступил, не затислся, и Плузников добежал тогда до подвала только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так же, как Сальников, славивший немца тогда, когда Плузников уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрал в небо обе руки. Так же, как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя.

Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал — просто считал долги.

Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, он открыв его на собственном опыте, и для него это был не только вопрос совести, но и вопрос жизни.

— Тронулся лейтенант! — говорил Федорчук,

мало заботясь, слышит его Плузников или нет. — Ну, чего будем делать? Сомим надо думать, старшина.

Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не поехать. Просто жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, неизвестное немцам подземелье.

— Ослаб он,— вздыхал старшина.— Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна.

Тетя Христа кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломен духом, и как тут быть, не знал.

И только Мирра знала, что ей делать: необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притаскала ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.

— Ну, чего ты так грохочешь?— ворчал Федорчук.— Обвалов давно не было, сосулькись! Тихо жить надо.

Она молча продолжала копать и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.

— Вот!— радостно сказала она, притаскивая его к столу.— Я помнила, что он у дверей стоял.

Вон чего ты искала,— вздохнула тетя Христа.— Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое дрогнуло.

Сердики, как говорится, не прикажешь, а только зря,— сказал Степан Матвеевич.— Ему бы забыть все в пору: и так слишком много помнит.

— Рубаша лишняя не помешает,— сказал Федорчук.— Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневался.

Плузников не улыбнулся. Нетеропливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать: белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыл кривую, продавленную крышку.

— Это ваши вещи. Ваши,— тихо сказала Мирра.

— Я помню.

И отвернулся к стене.

— Все,— вздохнул Федорчук.— Теперь уж точно все. Кончился паренек.

И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.

— Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой какой.

— Чего решать?— неуверенно сказала тетя Христа.— Решено уже: дождемся.

— Чего?— закричал Федорчук.— Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю?

— Красной Армии дождемся,— сказала Мирра.

— Красней?— насмешливо переспросила Федорчук.— Дура! Вот она, твоя Красная Армия: без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это?

Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плузников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснует. Он научился ждать.

Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плешек две погасили на ночь, Плузников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ошупью направился

к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.

Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.

Через узкий лаз Плузников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факел, хотя уже сориентировался и знал, куда идти.

Он пришел в тупичок, куда завалился, спасаясь от немцев; здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил свод, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал кирпичи—они не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво: Федорчук потрудился основательно.

Выяснив, что выход завален прочно, Плузников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умышленного расстройств, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, и его лишили этой возможности. Значит, им придется возиться с этим телом, придется обсуждать его смерть.

Придется, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам себе вынес.

Подумав так, он достал пистолет, перевернул затвор, мгновенно помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди: все-таки ему не хотелось валиться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце: оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце...

— Коля!.

Если бы она крикнула любое другое слово — даже тем же самым голосом, звонким от страха. Любое иное слово — и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, чтобы глгнуть, что это кричит. Опустил ее до секунду, но она, волоча ногу, успела добежать.

— Коля! Коля, не надо! Колячка, милый!

Ноги не удержали ее, и она упала, изо всех сил цеплявшись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший пороком и смертью рукав гимнастерки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом тепле, он не нажимет на спусковой крючок.

— Брось его. Брось. Я не опущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня.

Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые тени металлись по сводам, ухо-

дившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце.

— Зачем ты здесь? — с тоской спросил он.

Мирра впервые подняла лицо: свет факела дробил в слезах.

— Ты Красная Армия, — сказала она. — Ты моя Красная Армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?

Его не смутила краснота ее слов, смутило другое. Оказывается, кто-то нуждался в нем, кому-то он был еще нужен. Нужен, как защитник, как друг, как товарищ.

— Отпусти руку.

— Сначала брось пистолет.

— Он на боевом взводе. Может быть выстрел.

Плужников помог Мирре встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель и сунул в карман. И взял факел.

— Пойдем?

Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась.

— Я никому не скажу. Даже тебе Христе.

Он молча погладил ее по голове. Как маленькую. И загасил факел в песке.

— Спокойной ночи! — шепнула Мирра, ныряя в лаз.

Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чадила плочка. Прошел к своей скамье, укрывшись шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и заснул. Крепко и спокойно.

Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрал свои вещи со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку.

— На поправку повернуло, товарищ лейтенант? — недоброchio улыбался, спросил старшина.

— Вода найдется? Кружки три хотя бы.

— Есть вода, есть! — засуетился Степан Матвеевич.

Полые мне, Волков! — Плужников впервые по ночной днел содрал с себя перепревшую гимнастерку, надетую на голое тело: майка давно пошла на битны. Вынул из продавленного чемодана смену белья, мыло, полотенце. — Мирра, пришей мне подворотничок к летней гимнастерке.

Вылез в подземный ход, долго, старательно мылся, все время думая, что тратит воду, и впервые сознательно не жалел этой воды. Вернулся и так же молча побрился, тщательно и неумело, козенькой бритвой, купленной в училищном вензенторе не по надобности, а про запас. Растер одеколоном худое, изрезанное неприглядной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мирра, туго затянулся ремнем. Сел к столу, худая мальчишеская шея торчала из воротника, ставшего непомерно широким.

— Докладывайте.

Переглянулись. Старшина спросил неуверенно:

— Что докладывать?

— Все. — Плужников говорил жестко и коротко — рубил. — Где наши, где противник.

— Так это... Старшина замаялся. — Противник известно где: наверху. А наши... Наши неизвестно.

— Почему неизвестно?

— Известно, где наши, — угромо сказал Федорчук. — Внизу. Немцы наверху, а наши внизу.

Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной, как со своим заместителем, и всячески подчеркивал это.

— Почему не знаете, где наши?

Степан Матвеевич виновато вздохнул.

— Разведку не производили.

— Догадываюсь. Я спрашиваю: почему?

— Да ведь как сказать. Болели вы. А мы выходили заложники.

— Кто заложник?

Старшина промолчал. Тетя Христа хотела это-то пояснить, но Мирра остановила ее.

— Я спрашиваю, кто заложник?

— Ну, я! — громко сказал Федорчук.

— Не понял.

— Я!

— Еще раз не понял, — тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта.

— Старший сержант Федорчук.

— Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободен.

— Днем работать не буду.

— Через час доложите об исполнении, — повторил Плужников. — А слова «не буду», «не хочу» или «не могу» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего.

Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту — минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишит его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял умыwanie, пересодвание, бритье: он думал и готовился к этому разговору. Готовился продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний.

Все осталось там, во вчерашнем дне, пережить который ему было суждено.

2

В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова: путь наверх стал свободным. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами: Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук — со старшиной. Крепость еще жила, еще отрывалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Мухавцом, и наладить с кем-либо связь тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих.

— Одни побитые, — вздыхал Степан Матвеевич. — Много побито нашего брата. Ой, много!

Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников отошли в глухие подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связи, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказалась бы попросту бессмысленной.

Он сам ходил в эту разведку. Добрался до Тереспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота: регулярно, каждое утро, в одно и то же время. И вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась: они уже не стремились атаковать, а обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызвали огнем огнеметчиков. Да и ростом эти немцы выглядели пониже тех, с кем до сих пор сталкивались Плужников, и автоматов у них было явно меньше: карабины стали более обычным оружием.

— Либо я вырос, либо немцы съезжались, — не весело пошутил Плужников вечером. — Что-то в них изменилось, а вот что — не пойму. Завтра с нами

пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы тоже поглядели.

Вместе со старшиной они затежно перебрались в оборонные и разгромленные коробки казарм. Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами: Плузников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот.

Утро было ясным и тихим; лишь иногда лихорадочная стрельба асыхивала вдруг где-то на Обрином укреплении, возле внешних валов. Внезапно асыхивала, столь же внезапно прекращалась, и Плузников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников крепости.

— Товарищ лейтенант! — напряженным шепотом окликнул старшина.

Плузников перебрался к нему, выглянул: совсем рядом строилась шеренга немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя — манера бывалых солдат, которым многое прощается, — все было вполне обычным. Немцы не съезились, не стали меньше, они оставались такими же, какими впервые увидел их лейтенант Плузников.

Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй выткнулся, командир доложил шедшему первым — высокому и немолодому, видимо, старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следом шли офицеры: один держал коробки, которые старший вручал; вышагивая из строя солдатам.

— Ордена выдает, — сообразил Плузников. — Награды на поле боя? Ах, сволочь ты фашистская, я тебе покажу награды!

Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной — очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, замершие в парадном строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат.

Короткие очереди ударили почти в упор, с десятка шагов. Упал старший офицер, выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали недаром: растерянность их была мгновенной, и не успела смолкнуть очередь Плузникова, как строй рассыпался, укрывся и ударил по развалинам из всех автоматов.

Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми: немцы рассвирепели, никого не боялись и быстро закинули колло. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плузникова. Воспользовавшись стрельбой и беготней и сумятицей, они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще постреливали каждый закуток в развалинах казарм.

— Не изменился немец, — Плузников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться. — Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось туго.

— Про ту дверь в полку только старшины знали, — вздохнул Степан Матвеевич. — Вот она, значит, и пригодилась.

Он с трудом стянул сапог: портянка набухла от крови. Тетя Христа закричала, замаяла руками.

— Пустяк, Яновна, — сказал старшина. — Мясо зацелило, чувствую. А кости целы. Кости целы, это — главное, дырка зарастет.

— Ну и зачем это? — раздраженно спросил Федорчук. — Пострелили, побегали, а зачем? Что,

война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война. Война, она в свой час завершится, а вот мы...

Он замолчал, и все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны победного торжества и боевого азарта и спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось.

А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, вольнил, и Плузникову пришлось прикрикнуть.

— Ладно, иду, иду, — проворчал старший сержант. — Нужны эти наблюдения, как...

В секреты уходили на весь день: от темна до темна. Плузников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плузников решил искать новость куда сгинувшего старшего сержанта.

— Автомат оставь, — сказал он Волкову. — Возьми карабин.

Сам он шел с автоматом, но именно в эти вылазки впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно, и Плузников все время шипел на покорного Волкова, чтобы он не брыкал и не высовывал ее где попало. Но сердился Плузников совсем не из-за винтовки, а из-за того, что никаких следов старшего сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить.

Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тереспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плузников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта. Живого, раненого или мертвого, но обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего.

Приказав Волкову держат, под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, Плузников тщательно осматривал крытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество необуранных трупов, и Плузников подолгу всматривался в каждый, пытаясь издалека определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением.

— Немцы...

Волков выдохнул это слово так тихо, что Плузников понял его потому лишь, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул.

Немцы — человек десять — стояли на противоположном берегу у моста. Стояли свободно: галдели, смеялись, размахивали руками, глядя куда-то на этот берег. Плузников вытянул шее, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что так боялся увидеть.

От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, поднимая руки, и белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках в такт угрюмому, уверенному шагу. Он шел в плен так спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шутками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами.

— Товарищ Федорчук, — удивленно сказал Волков. — Товарищ старший сержант...

— Товарищ?... — Плузников, не глядя, требовательно протянул руку. — Винтовку.

Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулко:

— Зачем?
— Винтовку! Живое!

Федорчук уже подходил к немцам, и Плузников топтался. Он хорошо стрелял, но именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он чересчур резко рванул спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост и до немцев ему оставалось четыре шага.

Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слышали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел был его выстрелом: выстрелом, которого ждала эмгиз взмохшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гогоча и веселясь, пятались от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками.

Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще кричал что-то дико и непонятно. И немцы ничего не успели понять, хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому что три следующих выстрела Плузников сделал, как на училищных соревнованиях по скоростной стрельбе.

Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плузников и растерянный Волков уже были внизу, в пустых, разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько мин, Волков попытался было забиться в щель, но Плузников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползали и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневиком.

— Вот так, — задыхаясь, сказал Плузников. — Гад он. Гадина. Предатель. Волков глядел на него круглыми, перепуганными глазами и кивал поспешно и непонимающе. А Плузников все говорил и говорил, повторяя одно и то же:

— Предатель. Гадина. С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки, у тети Христи, наверно, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все. И нас бы с тобой продал. Гадиюка. С платочками, а! Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько шел, обдуманно.

Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и тогда не чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он застрелил человека, с которым не один раз сидел за общим столом.

Но Плузников не испытывал угрызений совести, наборот, он ощущал эго, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил.

А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае сорок первого, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней, самых страшных дней в своей короткой, такой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одной казарме. Этот человек ворочиво учил его оружейному делу, поил чаем с сахаром и позволял немножко поспать во время скучных армейских нарядов. А сейчас этот человек лежал на том берегу, ле-

жал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков подумал, что у Федорчука могли быть свои причины для такого поступка, и причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант — худой, страшный и непонятный, — этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивая оружием.

Думая так, Волков не испытывал какого-то особого страха: страх его был нормальным и естественным. А вот одиночество, которое ощущал он сейчас, было ненормальным и неизвестным. Оно мешало Волкову почувствовать себя человеком и бойцом, оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плузниковым. И Волков боялся своего командира, не понимал его и потому уже не верил.

Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота — много, до звезды. Вышли стрелем, но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тереспольским воротам отески кольцевых казарм; вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи огнемётных залпов. Но Плузников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся в щель и направился к развалинам казарм триста тридцать третьего полка. И там тоже загрохотали взрывы и тяжко заухали огнемёты.

Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отойти, но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелье, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отойти следовало в глубину, в развалины казарм за костелом.

Плузников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отойти. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросив, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плузникову, но он не стал терять времени на расспросы. Боец был без оружия (его винтовку сам Плузников бросил еще там, в башне), чувствовал себя неуютно и, наверно, побаивался. И чтобы подбодрить его, Плузников подмигнул и даже улыбнулся, но и подмигивание и улыбка вышли такими натянными, что могли напугать и более отважного, чем Волков.

— Ладно, добудем тебе оружие, — хищро буркнул Плузников, поспешно перестав улыбаться. — Пошел вперед. До следующей воронки.

Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно, можно передохнуть и осматреться.

— Здесь не найдут, не бойся.

Плузников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плузников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Салыникове. Издохнул.

Где-то за развалинами — не сзади, где остались немецкие поисковые группы, а впереди, где никаких немцев не должно было быть, — послышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по звукам, людей там было много, они не скрывались и уже поэтому не могли быть своими. Скорее всего сюда двинулся еще какой-то немецкий отряд, и Плузников насторожился, пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них.

— Сиди здесь, — сказал Плужников. — Сиди и не высовывайся, пока я не вернусь.

И опять Волков промолчал. И опять глянул странно, напряженными глазами.

— Жди, — поймав этот взгляд, повторил Плужников. Он осторожно крапс через развалины. Пробираясь по кирпичным осыпям, не сдвинув ни одного обломка, перебежал открытые места, часто останавливался, замирая и прислушиваясь. Он шел на странные шумы, и шумы эти теперь приближались, делались все яснее, и Плужников уже догадывался, что бродит там, по ту сторону развалин. Догадывался, но еще сам не решился поверить.

Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Выискал убежище, заполз, перевел автомат на боевой взвод и выглянул.

На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в глубокие воронки полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей, геском. Не осматривая, не собирая документов, не срывая медальонов. Неторопливо, устало и равнодушно. И, еще не заметив охраны, Плужников понял, что это пленные. Он сообразил это еще на бегу, но почему-то не решился поверить в собственную догадку, боялся в упор, воочию, в трех шагах увидеть своих, советских, в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже отдаленных от него, кадравого лейтенанта Красной Армии Плужникова, зловещим словом «плеи».

Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают: безостановочно и равнодушно, как автоматы. Смотрел, как ходят: сутулящиеся, шаркая ногами, точно атрое вдвое постарше. Смотрел, как они тут глядят перед собой, не пытаясь даже сориентироваться, определяться, понять, где находится. Смотрел, как лениво поглядывают на них неаногонисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу. Плужников не находил этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уклады, которые и превращают вчерашних активных бойцов в тупых исполнителей, уже не мечтающих о свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека.

Объясняя для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалуют и сочувствуют тяжело заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискал его среди тех, кто работал, не нашел — и обрадовался. Он не знал, жив ли Сальников или уже погиб, но здесь его не было, и значит, в покорного исполнителя его не превратили. Но какой-то другой знакомый — крупный, медлительный и старательный — здесь был, и Плужников, приметив его, все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой.

А рослый пленный, как назло, ходил рядом, в двух шагах от Плужникова, огромный совковой лопатой подрывал кирпичную крошку. Ходил рядом, царячил своей лопатой возле самого уха и все никак не поворачивался лицом...

Впрочем, Плужников и так узнал его. Узнал, вдур припомнив и бой в костеле, и ночной уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец был приписником, из местных, и жалел, что добровольно пошел на армейскую службу в мае вместо октября, и как Сальников утверждал тогда, будто он

погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников вспоминал очень ясно и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его норе, позвал:

— Прижикно!

Вздрыгнула и еще ниже согнулась широкая спина. И замерла испуганно и покорно.

— Это я, Прижикно, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле?

Пленный не поворачивался, ничем не показывая, что слышит голос своего бывшего командира. Просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго обтянутую грязной изодранной гимнастеркой. Эта спина была сейчас полна ожидания: так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижикно с ужасом ждет выстрела и спина его — огромная и незащищенная спина — стала сутулой и покорной именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение ждала выстрела.

— Ты Сальникова видел? Сальникова в плену встречал? Отвечай, нет тут никого.

— В лазарете он.

— Где?

— В лазарете лагерном.

— Болен, что ли?

Прижикно промолчал.

— Что с ним? Почему он в лазарете?

— Товарищ командир, товарищ командир... — воровато оглянувшись, зашептал вдруг Прижикно. — Не губите, товарищ командир, богом прошу, не губите вы меня. Нам, которые работают хорошо, которые стараются, нам послабления будет. А которые местные, тех домой отпустят, обещали, что непременно домой...

— Ладно, не причитай, — зло перебил Плужников. — Служи им, зарабатывай свободу, беги домой — все равно не человек ты. Но одно ты сделаешь, Прижикно. Сделашь, или пристрелю тебя сейчас к чертовой матери.

— Не губите... — В голос пленного зазвучал рыдания, но Плужников уже подавил в себе жалость к этому человеку.

— Сделашь, спрашиваю? Или — или, я не шучу.

— Ну что могу я, что? Подневольный я.

— Пистолет Сальникову передашь. Передашь и скажешь, пусть на работу в крепость просится. Понял?

Прижикно молчал.

— Если не передашь, смотри. Под землей найду, Прижикно. Держи.

Размахнувшись, Плужников перебрал пистолет прямо на лопату Прижикно. И как только занырнул этот пистолет о лопату, Прижикно вдруг метнулся в сторону и побежал, громко крича:

— Сюда! Сюда, человек тут! Господин немец, сюда! Лейтенант тут, лейтенант советский!

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда опомился, Прижикно уже выбежал из сектора его обстрела; к норе, грохоча подкованными слогом, бежала лагерная охрана, и первый сигнальный выстрел уже ударил воздух.

Отступать назад, туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было невозможно, и Плужников бросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому что немцев было много, он хотел оторваться от преследования, забиться в глухой каземат и отлежаться там до темноты. А ночью отыскать Волкова и вернуться к своим.

Ему легко удалось уйти: немцы не очень-то стремились в темные подвалы, да и беднота по разна-
ликам их тоже не устраивала. Постреляли вдогонку,

покричали, пустили ракету, но ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала.

Теперь было время подумать. Но и здесь, в чуткой темноте подземелья, Плужников не мог думать ни о растерянном им Федорчуке, ни о растерянном Волкове, ни о покорном, уже согнутом приписнике. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неотступно думал совсем о другом и куда более важном: о немцах.

Он опять не узнал их сегодня. Не узнал в них сильных, самоуверенных, до наглости отчаянных молодых парней, упорных в атаках, цепких в преследовании, упорных в рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого дрался, не выпустили бы его живым после крика Прижника. Те немцы не стояли бы в открытую на берегу, поджидая, когда к ним подойдет поднышавший руки красноармеец. И не хохотали бы после первого выстрела. И уж наверняка не позволили бы им с Волковым беззаконно улизнуть после расстрела перебежчика.

Те немцы, эти немцы... Еще ничего не зная, он уже сам предполагал разницу между немцами периода штурма крепости и сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные «штурмовые» выведены из крепости, а их место заняли немцы другого склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска и откровенно побаиваются темных стреляющих подземелий.

Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом обнаглел. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде: пошел к выходу в рост, не скрываясь и нарочно гроча сапогами.

Так он и вышел из подвала: только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев у выхода не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упрощало его положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выработать новую тактику сопротивления. Новую тактику их личной войны с фашистской Германией.

Думая об этом, Плужников далеко обошел пленные — за развалинами по-прежнему слышалось унылое шарканье — и подошел к месту, где оставил Волкова, с другой стороны. Места эти были ему знакомы, он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятались Волкова. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни под ней не оказалось.

Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу, излезил соседние развалины, заглянул в каждый камчат, рискуя даже несколько раз оплукнуть пропавшего молодого, необстрелянного бойца со страдальческими, почти не мигающими глазами, но отыскать так и не смог. Волков исчез несомненно и таинственно, но оставив после себя ни клочка одежды, ни капли крови, ни крика и ни вздоха.

3

— С тало быть, снял ты Федорчука, — вздохнул Степан Матвеевич. — А парнишку жалко. Пропадет парнишка, товарищ лейтенант, больно уж с детства он напуганный.

Тихого Васю Волкова вспомнил еще несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили. Словно не было его, словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мирра спросила, когда остались одни:

— Застрелил?..

Она с запинкой, с трудом произнесла это слово. Оно было чужим, не из того обихода, который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах и о картошке. И еще о болезнях, которых всегда хватало.

— Застрелил?

Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея и ужасаясь тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести — только усталость.

— Боже мой, — вздохнула Мирра. — Боже мой, все похосидили с ума.

Она сказала это по-взрослому, горько и спокойно. И так же, по-взрослому, спокойно протянула к себе его голову и трижды поцеловала: в лоб и в оба глаза.

— Я возьму твое горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья.

Так говорила ее мама, когда заболел кто-либо из детей. А детей было много, очень много вечно голодных детей, и мама не знала ни своего горя, ни своих болезней: ей хватало хвороб и горя детей. И всех своих девочек она учила сначала думать не о своих бедах. И Миррочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом:

— А тебе век за чужих болеть: своих не будет, доченька.

Мирра с детства свыклась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым сестрам. Свыклась и уже не горевала, потому что ее особое положение — положение ученицы, на которую никто не позарится, — тоже имело свои преимущества, и прежде всего свободу.

А тетя Христа все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари. И шептала при этом:

— Двоих нету. Двоих нету. Двоих нету.

В последнее время она ходила с трудом. В подземельях было прохладно, у тети Христи отекали ноги, да и сама она без солнца, движения и свежего воздуха стала еще более рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и втайне решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна. Без материнской руки и женского совета.

Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще в младенчестве, муж уехал на заработки да так и сгинул, дом отоборали за долги, и тетя Христа, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в прислугу, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная Армия. Эта Красная Армия — веселая, щедрая и добрая — впервые в жизни дала тете Христе постоянную работу, достаток, товарищей и комнату по уплотнению.

— То боже войско, — важно поясняла тетя Христа неприлично тихому брестскому рынку. — Молитесь, панове.

Сама она давно не молилась не потому, что не верила, а потому, что обиделась. Обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратившую всякое общение с небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил сдерживала себя, была очень хотела по-молиться и за Красную Армию, и за молодого лейтенанта, и за девушку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И все делала по многолет-

ней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговору в каземате.

— Считаете, другой немец пришел?

От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла и горела непереставно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упорно верил в собственное здоровье, а поскольку кость на ноге была цела, то дырка обязана была зарастить сама собой.

— А почему они за мной не побежали? — размышлял Плужников. — Всегда бегали, а тут выпустили. Почему?

— А могли и не менять немцев, — сказал старшина, подумав. — Могли.

— Могли, — вздохнул Плужников.

Передохнув, он опять высолкнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. Вновь ползал, задыхаясь от пыли и тупого смрада, звал, вслушиваясь. Ответа не было.

Встреча с немцами произошла неожиданно. Мирно разговаривая, они вышли на него из-за уцелевшей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и она до сих пор спасала его.

Автомат Плужникова выпустил короткую очередь, один немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убедать, но вместо этого он упал на колени. И покорно ждал, пока Плужников вышибет застреленный патрон.

Солнце давно уже село, но было еще светло: эти немцы приподнились что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мертвый, перепаханный снарядами крепостной двор. Не успели, и теперь один уже перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковым на коленях, склонив голову. И молчал.

И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени противника, но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боец: почему немцы стали такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени. Он не считал свою войну законченной, и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ — не предположения, не домыслы, а точный, реальный ответ! — ответ этот стоял сейчас перед ним, ожидая смерти.

— Комм! — сказал он, указав автоматом, куда следовало идти.

Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь, но Плужникову некогда было припоминать немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысая впереди, затравленно втянул голову в узкие штатские плечи.

Так они перебежали через двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на стулного, насмерть перепуганного и далеко не молодого врага.

— Языка добыл, — сказал Плужников и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру. — Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич.

Немец опять заговорил громким плачущим голосом, захлебываясь и глотая слова. Протягивал вне-

ред дрожавшие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову.

— Ничего не понимаю, — растерянно сказал Плужников. — Терахтит.

— Рабочий он, — сообразил старшина. — Видите, руки показывает?

— Лянгзам! — сказал Плужников. — Битте, лянгзам?

Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, всхлинув, вновь сорвался на лихорадочную скороговорку.

— Испуганный человек, — вздохнула тетя Христья. — Дрожая дрожит.

— Он говорит, что он не солдат, — сказала вдруг Мирра. — Он охранник.

— Понимаете по-ихнему? — удивился Степан Матвеевич.

— Немножечко.

— То есть как так — не солдат? — нахмурился Плужников. — А что он в нашей крепости делает?

— Нихт зольдт! — закричал немец. — Нихт зольдт, нихт вермахт!

— Дела, — озадаченно протянул старшина. — Может, он наших пленных охраняет?

Мирра перевела вопрос. Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной тирадой, как только она замолчала.

— Пленных охраняют другие, — не очень уверенно переводила девушка. — Этим приказано охранять входы и выходы из крепости. Они караульная команда. Он настоящий немец, а крепость штурмовали австрийки из сорок плевой дивизии, земляки фатера. А он рабочий, мобилизован в апреле...

— Я же говорил, что рабочий! — с удовольствием отметил старшина.

— Как же он, рабочий, пролетарий, как он мог против нас... — Плужников замолчал, махнув рукой. — Ладно, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части или их уже отвели.

— А как по-немецки боевые части?

— Ну, не знаю... спроси, есть ли солдаты.

Медленно подбирая слова, Мирра начала переводить. Немец слушал, от старания свесив голову. Несколько раз уточнил, что-то переспросил, а потом опять застал, зататорил, что ты себе в грудь, то изображая автоматчика: «ту-у-ту!»

— В крепости остались настоящие солдаты: саперы, автоматчики, огнеметчики. Их вызывают, когда обнаруживают русских: таков приказ. Но он не солдат, он караульная служба, он ни разу не стрелял по людям.

Немец объяснил что-то зататорил, замалх руками. Потом вдруг торжественно погрозил пальцем Христине Яновне и нетерпеливо, важно достал из кармана мятого мундира черный пакет, склеенный из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол.

— Дети, — вздохнула тетя Христья. — Детишек своих кажет.

— Киндер! — крикнул немец. — Майне киндер! Драй!

И гордо тыкал пальцем в неказистую узкую грудь — руки его больше не дрожали.

Мирра и тетя Христья рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чем-то важном, по-женски бестолково подробно и добром. О детях, блучках, здоровье, школьных отметках, простудах, зав-

¹ Комм — иди.

¹ Лянгзам — медленно.

² Битте, лянгзам — пожалуйста, медленно.

траках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя:

— Придется вам, товарищ лейтенант: мне с тобой трудно. А отпустить опасно: дорогу к нам знает.

Плужников кивнул. Сердце его вдруг заныло, запылало, тяжело и безнадёжно, и он впервые остро почувствовал, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта вызвала в нем физическую дурноту: даже сейчас он не годился в палачи.

— Ты уж извини,— виновато сказал старшина.— Нога, понимаешь...

— Понимаю, понимаю! — слишком торопливо перебил Плужников.— Патрон у меня перекошило...

Он резко оборвал, поднялся, взял автомат:

— Комм!

Даже при чадном свете было видно, как посерел немец. Посерел, сутулится еще больше и стал судорожно собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии все время выскальзывали из стол.

— Форверст! — крикнул Плужников, взводя автомат.

Он чувствовал, что еще мгновение — и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти светлые, дрожащие руки.

— Форверст!

Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошел к лазу.

— Карточки свои забыл! — всполошилась тетя Христа. — Обожди!

Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Немец стоял, покачиваясь, туго глядя перед собой.

— Комм! — Плужников толкнул пленного дулом автомата.

Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущийся руками все обирая и обирая полы мягкого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло темное пятно, и дурный запах смертного пота шлейфом волочился за ним.

А Плужникову предстояло убить его. Вывести наверх и в упор шархануть из автомата в эту вспотевшую, сутулую спину. Спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же, этот немец не хотел воевать, конечно же, не своей охотой забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно, нет, Плужников все это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед:

Ред! Шнелль! Шнелль! ²

Не оборачиваясь, он знал, что Мирра идет следом, припадая на больную ногу. Идет, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернется сюда, и здесь, в темноте, они встретятся. Хорошо, что в темноте: он не увидит ее глаз. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так мучительно на душе.

— Ну лезь же ты!

Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он скатывался назад, на Плужникова, согла и вспыхивая. От него дурно пахло: даже Плужников, притерпевшийся к воню, с трудом выносит этот запах — запах смерти в еще живом существе.

— Лезь!..

¹ Форверте — вперед.

² Шнелль — быстро.

Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом автомата, немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер.

Мирра стояла в подземе, смотрела на уже невидимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было.

В дыру зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почувствовал, что она стоит рядом.

— Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека.

Прохладные руки нащупали его голову, притянули к себе. Шейкой он ощутил ее щеку: она была мокрой от слез.

— За что нам это? За что, ну, за что? Что мы сделали плохо? Мы же сделать ничего еще не успели, ничего!

Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников неумело погладил ее худенькие плечи.

— Ну что ты, сестренка? Зачем?

— Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика.— Она вдруг крепко обняла его, несколько раз торопливо поцеловала.— Спасибо тебе, спасибо, спасибо. А им не говори: пусть это будет наша тайна. Ну, как будто ты для меня это сделал, ладно?

Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не застрелил этого немца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что.

— Они не спросят.

Они и вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам: тетя Христа вдвоем с девушкой, старшина — на досках, а Плужников — на скамье.

И эту ночь тетя Христа не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топочут в темноте крысы, как беззвучно вздыхает Мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христа давно уже не вытирала их, потому что левая рука ее очень болела и плохо слушалась, а на правой спала deeply. Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым.

Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце, и тетя Христа думала сейчас, что скоро умрет, умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того, чтобы увидеть это солнце, ей следовало уходить, пока есть еще силы, пока она одна, без чужой помощи сможет выбраться наверх. И она решила, что завтра непременно попробует, есть ли у нее еще силы и не пора ли ей, пока не поздно, уходить.

С этой мыслью она и забылась, уже в полусне поцеловав черную девичью голову, что столько ночей пролежала на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лаз в подземный коридор. Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умывался — благо, воды теперь хватало,— и Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил: Плужников сердился, а девушка смеялась.

— Куда вы, тетя Христа?

— А к дыре, к дыре,— торопливо пояснила она.— Подышать хочу.

— Может, прозреть ваз?

— Что ты, не надо. Мой своего лейтенанта.

— Да она балуется! — сердито сказал Плужников.

И они опять засмеялись, а тетя Христа, опираясь о стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако она одна сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христу.

«Может, не сегодня уйду. Может, еще денечек пожить, может, еще поживу маленько».

Тетя Христя была уже возле самой дыры, но шум наверху услышала первой не она, а Плузников. Он услышал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, толкнул девушку в лаз:

— Скорее!

Мирра нырнула в каземат, не спрашивая и не медля: она уже привыкла его слушаться. А Плузников, напряженно лоя этот посторонний шум, успел только крикнуть:

— Тетя Христя, назад!

Гулко ухнуло в дыре, и тугая волна горячего воздуха ударила Плузникова в грудь. Он задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разнудным ртом, успел наступить дыры и нырнуть туда. Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг осветив кирпичные своды, убегающих крыс, присыпанные пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христы. А в следующее мгновение раздался страшный, нечеловеческий крик, и облитая пламенем тетя Христя бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, а тетя Христя еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, уже сгорев в тысячеразрядную струю огнемата. И вдруг рухнула, точно растаяв, и стало тихо, только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как капли.

Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым все равно пахло. Горелым человеческим мясом.

Окричавшись, Мирра приползла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь; тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчине. Сейчас она отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между ею и мужчинами, было пердеющее звено — тетя Христы. Тетя Христы сгорела ее ногами, тетя Христы кормила ее за столом, тетя Христы ворчливо учила ее ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее, и Мирра спала спокойно. Тетя Христы помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя Христы грубоваго прогнала мужчин, когда это было необходимо, и за ее доброй спиной Мирра жила без стеснения.

Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была одна и впервые ощутила тот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от сознания этой физической беспомощности всей тяжестью обрушился на ее худенькие плечи.

— Значит, засекли они нас,— вздохнул Степан Матвеевич.— Как ни береглись, как ни хоронились.

— Я виноват! — Плузников вскопил, заметался по каземату. — Я, один я! Я чера...

Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плузникова существовала и она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик «Колл!», который остановил когда-то его на этом самом месте, где лежал теперь пепел тети Христы. Для него уже существовала их общая тайна, ее шепот, дышание которого он почувствовал на своей щеке. И поэтому он не стал признаваться, что опустил вчера немца, который утром привел огнеметчиков. Это признание уже ничего не могло исправить.

— А в чем ты виноват, лейтенант?

До сих пор Степан Матвеевич редко обращался

к Плузникову с той простотой, которая диктовалась и разницей в возрасте и их положением. Он всегда подчеркнуто признавал его командиром и разговаривал так, как этого требовал устав. Но сегодня уже не было устава, а было двое молодых людей и усталый взрослый человек с заживо гниющей ногой.

— В чем же ты виноват?

— Я пришел, и начались несчастья. И тетя Христы, и Волков, и даже этот... сволочь эта. Все из-за меня. Жили же вы до меня спокойно.

— Спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спойности нашем развелось. Не с того ты конца виноватых ищешь, лейтенант. А я вот, например, тебе благодарен. Если б не ты — немца ни одного так бы и не убил. А так вроде убил. Убил, а? Там, у Холмских ворот?

У Холмских ворот старшина никого не убил: единственная очередь, которую успел он выпустить, была слишком длинной, и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось верить, и Плузников подтвердил:

— Двоих, по-моему.

— За двоих не скажу, а один точно упал. Точно. Вот за него тебе и спасибо, лейтенант. Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут...

В этот день они не выходили из своего каземата. Не то что они боялись немцев — немцы вряд ли рискнули бы лезть в подземелье, — просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила огнеметная струя.

— Завтра пойдем,— сказал старшина.— Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздаст бы тебе к дыре той... Значит, через Тереспольские ворота они в крепость входят? — Через Тереспольские. А что?

— Так. Для сведения.

Старшина помолчал, искося поглядывая на Мирру. Потом покачал, взял за руку, потянул к камье:

— Сядь-ка.

Мирра послушно села. Она весь день думала о тете Христе и о своей беспомощности и устала от этих дум.

— Тыazole меня спать будешь.

Мирра резко выпрямилась:

— Зачем еще?

— Да ты не пугайся, окая.— Степан Матвеевич невесело усмехнулся.— Старый я. Старый да больной, и все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крыс отгонять, как Яновна отгоняла.

Мирра опустила голову, повернулась, ткнулась лбом. Старшина обнял ее, сказал, понизил голос:

— Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет. Скоро ты одна с ним останешься. Не спорь, знаю, что говорю.

В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина говорил и говорил, Мирра долго плакала, а потом, обессилив, уснула. И Степан Матвеевич к утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи.

Забываясь, он ненадолго: передремал, обманул усталость, и уже на ясную голову еще раз спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. Все уже было решено, решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто уточнял детали. А потом осторожно, чтобы не разбудить Мирру, встал и, достав гранаты, начал вязать связки.

— Что взрывать собираешься? — спросил Плузников, застав его за этим занятием.

— Найдю.— Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос: — Ты не обижай ее, Плузников.

Плузников знобило. Он кутался в шинель и зевал.

— Не понимаю.
— Не обижай,— строго повторил старшина.— Она маленькая еще. И больная, это тоже понимать надо. И одну не оставляй: если уходить надумашь, так о ней сперва вспомни. Вместе из крепости выбирайтесь: пропадет девочка одна.

— А вы... Вы что?
— Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. Помирать, так с музыкой.

— Степан Матвеевич...
— Все, товарищ лейтенант, отвоевался старшина. И приказания твои теперь недействительны: теперь мои приказания главней. И вот тебе мой последний приказ: девочку береги и сам уцелей. Выживи. Назло им выживи. За всех нас.

Он поднялся, сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его: главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазах.

— Так, говоришь, через Тереспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. Живите! — И вышел.

Из раскрытого лаза несло горелым смрадом.
— Утро доброе.

Мирра сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза.

— Чем это пахнет так!..

Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужниковов вдруг схватил автомат:
— Я наверх. К дыре не подходи!

— Коля!
Это был совсем другой выкрик — растерянный, беспомощный. Плужниковов остановился.

— Старшина ушел. Взял гранаты и ушел. Я догоню.

— Догоним.— Она торопливо копошилась в углу.
— Только вместе.

— Да куда тебе...— Плужниковов запнулся.

— Я знаю, что я хромая,— тихо сказала Мирра.— Но это от рождения, что же делать. И я боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна, я лучше сама вылезу.

— Идем.

Он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком, густом смраде нечем было дышать. Крысы возлизи у груды обгорелых костей, и это было все, что осталось от тети Христы.

— Не смотри,— сказал Плужниковов.— Вернемся, зараю.

Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом огнемата. Плужниковов вылез первым, огляделся, помог выбраться Мирре. Она лезла с трудом, неумело, срываясь на скользких, оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий случай придержал.

— Подожди.

Еще раз осмотрелся: солнце пока не появлялось, и вероятность встречи с немцами была невелика, но Плужниковов не хотел рисковать.

— Вылезай.

Она замешкалась. Плужниковов оглянулся, чтобы торопить ее, увидел вдруг худенькое, очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и напряженно. И молчал: он впервые видел ее при свете дня.

— Вот ты какая, оказывается.

Мирра потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, забавливо обняв платом колени. Она поглядывала на него, потому что тоже впервые видела его не в чадном пламени котилков, но поглядывала ук-

радкой, искося, каждый раз, как заслонки, приподнимая длинные ресницы.

Вероятно, в мирные дни среди других девушек он был просто не заметил ее. Она вообще была незаметной — заметными были только большие печальные глаза да ресницы,— но здесь сейчас не было никого прекраснее ее.

— Так вот ты какая, оказывается.

— Ну, такая,— сердито сказала она.— Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я опять залезу в дыру.

— Ладно.— Он улыбнулся.— Я не буду, только ты слушайся.— Плужниковов пробрался к обломку стены, выглянул: ни старшины, ни немцев не было на пустом, развороченном дворе.— Иди сюда.

Мирра, отступая на кирпичи, подошла. Он обнял ее за плечи, пригнул голову.

— Спрячься. Видишь ворота с башней? Это Тереспольские.

— Я знаю.

— Что-то он про них меня спрашивал...

Мирра ничего не сказала. Оглядевываясь, она узнавала и не узнавала знакомую крепость. Здание коммандатуры лежало в развалинах, мрачно темнела разбитая коробка костела, а от каштанов, что росли вокруг, остались одни стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете.

— Как страшно,— вздохнула она.— Там, под землей, все-таки кажется, что наверху есть кто-то есть. Кто-то живой.

— Наверняка есть,— сказал он.— Не мы одни такие везучие. Где-то есть, иначе стрельбы не было бы, а она случается. Где-то есть, и я найду где.

— Найди,— тихо попросила она.— Пожалуйста.

— Немцы,— сказал он.— Спокойно. Только не высовывайся.

Из Тереспольских ворот вышел патруль: трое немцев появились из темного провала ворот, постояли, неторопливо пошли вдоль казарм к Холмским воротам. Откуда-то издали донеслась отрывистая песня: словно ее не пели, а выкрикивали доброй полусотней глоток. Песня делалась все громче. Плужниковов уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней входит сейчас под арку Тереспольских ворот.

— А где же Степан Матвеевич? — обеспокоенно спросила Мирра.

Плужниковов не ответил. Голова немецкой колонны показывалась в воротах: они шли по четыре в ряд, громко выкрикивая песню. И в этот момент темная фигура сорвалась сверху, с разбитой башни. Мелькнула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев, и мощный взрыв двух связок гранат рванул утреннюю тишину.

— Вот Степан Матвеевич! — крикнул Плужниковов.— Вот он, Мирра!.. Вот он!..

Часть четвертая

I

Весь день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали, они всячески избегали друг друга, насколько это было возможно в подземелье. Если один оказывался у стола, второй отходил в угол, а если и сидел за стол, то — подальше, на противоположный конец. Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их случайно встретятся в темноте.





После гибели старшины Мирра ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и плакала, а встревоженные взрывом немцы вновь прочесывали развалины, забрасывая подвалы гранатами и прожигая огнеметными залпами. Их много сбегало со двора, они разоспались по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них, а она кричала и билась на обломках кирпичей, и Плузников никак не мог ее успокоить. Ему уже казалось, что он слышит крики немцев, топот их сапог, лязг их оружия, и тогда он схватил Мирру в охапку и потащил к дыре.

— Пусти.— Она вдруг перестала биться.— Сейчас же пусти. Слышишь?

— Нет.

Она казалась очень легкой, но сердце его неистово забило от этой гибкой и теплой ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание и, боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. А она в упор смотрела на него, и в ее глубоких, темных глазах был молчаливый и непонятный для него страх.

— Пусти,— еще раз очень тихо попросила она.— Пожалуйста.

Плузников опустил ее только возле дыры. Оглянувшись в последний раз, действительно услышал отчетливый шорох шагов, шепнул:

— Лезь.

Мирра замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее протезе, понял, что она не сможет спрыгнуть на пол там, под землей, и остановил:

— Я первым.

— Нет!— испугалась она.— Нет, нет!

— Не бойся, успею!

Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал:

— Иди! Скорее!

Мирра сорвалась на скользящих кирпичках, но Плузников подхватил ее, на секунду прижал к себе. Она покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо, а потом вдруг равновесие, оттолкнув его и быстро пошла по коридору, вполча ногу. А он остался в темноте у дыры, но слушал не шумя наверху, а гулкий стук собственного сердца. А когда вернулся в каземат, уже не решился заговорить. Хотел этих разговоров, удивлялся сам себе — и не заговаривал. И прятал глаза. И все время чувствовал, что она здесь, рядом, и что, кроме их двоих, нет никого во всем мире. Противоречивые чувства странно переплетались сейчас в нем. Горечь от гибели тети Христи и Степана Матвеевича и тихая радость, что рядом хрупкая и беззащитная девушка; ненависть к немцам и странное, незнакомое ощущение девичьего тепла; упрямое желание уничтожить врага и тревожное сознание своей ответственности за чужую жизнь,— все это жило в его душе в полной гармонии, как единое целое. Он никогда еще не ощущал себя таким сильным и таким смелым, и лишь одного он не мог сейчас: не мог протянуть руку и коснуться девушки. Очень хотел этого и не мог.

— Ешь,— тихо сказала она.

Наверно, наверху уже зашло солнце. Они промолчали и проголодали весь этот день; наконец Мирра сама достала еду и сказала первое слово. Но ели они все-таки на разных концах стола.

— Ты ложись. Я не буду спать.

— Я тоже не буду,— поспешно сказала она.

— Почему?

— Так.

— Крыс боишься? Не бойся, я их буду отгонять. Ты каждую ночь решил не спать?— Мирра вздохнула.— Не беспокойся, я уже привыкла.

— Завтра я разведу дорожку и отведу тебя в город.

— А сам?

— А сам вернусь. Здесь — оружие, патроны. Есть чем воевать.

— Воевать!... Она опять вздохнула.— Один против всех? Ну и что ты можешь сделать один?

— Победить.— Плузников сказал это вдруг, не раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так. И повторил упрямо: — Победить. Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя. А фашисты не люди, значит, я должен победить.

— Запутался!— Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех: таким неуместным показался он в этом мрачном и чадном каземате.

— А ведь это правда, что человека нельзя победить,— медленно повторил Плузников.— Разве они победили Степана Матвеевича? Или Володью Денищика? Или того фельдшера в подвале: помнишь, я рассказывал тебе? Нет, они их только убили. Они их только убили, понимаешь? Всего-навсего убили.

— Этого достаточно.

— Нет, я не о том. Вот Прижнюка они действительно убили, навсегда убили, хоть он и живой. А человека победить невозможно, даже убив. Человека выше смерти. Выше.

Плузников замолчал, и Мирра тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а для себя, и гордясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому что единственным выходом, который он себе оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом, он приговаривал себя к ней искренне и взволнованно, и, подчиняясь непонятному ей самой приказу, Мирра встала, подошла к нему и обняла за плечи. Она хотела быть рядом в эту минуту, хотела разделить его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала, что быть вместе — это просто прикоснуться к нему.

Но Плузников вдруг отстранил ее, встал и отошел на другой конец стола. И сказал чужим голосом:

— Завтра разведу дорожку, а послезавтра ты уйдешь.

Но Мирра и слышала и не слышала эти слова. Все в ней разом оборвалось, потому что его поведение вновь напомнило ей, что она калека и что он не забывает и не может этого забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на нее, она опустила на скамью и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки.

— Ты что это? — удивленно спросил Плузников.— Почему ты плачешь?

— Оставь меня,— громко вскрикнув, сказала она.— Оставь и иди, куда хочешь. Только не надо меня жалеть. Не надо, не надо!

Он неуверенно подошел к ней, постоял, неумело погладил по голове. Как маленькую.

— Не трогай меня! — Мирра резко встала, сбросив его руку.— Я не виновата, что оказалась здесь, не виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня хромая нога. Я ни в чем не виновата, и не смея меня жалеть!

Оттолкнув его, она прошла в свой угол и ничком упала на постель. Плузников постоял, послушал, как она всхлипывает и вздыхает, а потом взял бушлат старшины и накрыл ее плечи. Она резко повела ими и сбросила бушлат, а он снова накрыл ее, а она снова сбросила, и он снова накрыл. И Мирра больше уже не сбрасывала бушлат, а жалобно всхлипнула, семеня под ним и затихла. Плузников улыбнулся, отошел к столу и сел. Послушал, как тихо дышит пригравшаяся Мирра, достал из полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать ее, соображая, как провести завтрашнюю разведку. И не заметил, как уронил голову на стол.

— Ты прости меня,— сказала утром Мирра.

— За что?

— Ну, за все. Что ревела и говорила глупости. Больше не буду.

— Будешь,— улыбнулся он.— Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая.

Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отозвалась в ней, захлестнула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть к нему, чтобы прикоснуться и приласкаться, потому что сердце ее уже изнемогало без этой простой, мимолетной, ни к чему не обязывающей ласки. Но она сдержала себя и отвернулась, и он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушел, и она опять тихо заплакала, жалея его и себя и мучаясь от этой жалости.

То ли немцев напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились сегодня куда больше обычного. Возле Тереспольских ворот велись работы по расчистке территории, повсюду ходили усиленные патрули, а пленных, к которым Плузников уже привык, не было ни видно, ни слышно. У трехрочных тоже что-то делали, оттуда долетал шум моторов, и Плузников решил пробраться в северо-западную часть цитадели: посмотреть, нельзя ли там переправиться через Мухавец и уйти за внешние обводки.

Он не имел права рисковать и поэтому шел осторожно, избегая открытых мест. Кое-где даже полз, несмотря на то, что патрулей видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в перестрелки и беготню, он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно было бы проскользнуть. Проскользнуть, вырваться из крепости, добраться до первых людей и оставить у них девушку.

Плузников ясно понимал, что старшина был прав, заставляя его делать это во что бы то ни стало. Понимал, делал для этого все от него зависящее, но втайне боялся даже думать о том времени, когда останется один. Совсем один в разороченной крепости. Конечно, он мог бы уйти вместе с Миррой, раздобыть гражданскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, где почти наверняка остались отбившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной Армии. И это не было бы ни дезертиством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких списках, он был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где были боеприпасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не знал.

Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти за излучину Мухавца. Там немцы, тракторы которых грохотали у трехрочных ворот, не могли его видеть, и он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь многочисленные проломы и дыры.

— Стой!

Плузников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что скомандовали-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь его уперся автомат:

— Бросай оружие.

— Ребята.— от волнения Плузников даже вскрикнул.— Ребята, свои, милые...

— Мы-то милые, а ты какой?

— Свой я, ребята, своей! Лейтенант Плузников... Остановили его в тяжелом подвальном сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел,

кроме неясной фигуры впереди. И еще кто-то стоял сзади, в нише, но того он вообще не видел, а только чувствовал, что там кто-то стоит.

— Лейтенант, говоришь? А ну, шагай к свету, лейтенант.

— Шагаю, шагаю! — радостно сказал Плузников.— Сколько вас тут, ребята?

— Сейчас посчитаем.

Их было двое: заросших по самые брови, в рваных, грязных ватниках. Представились:

— Сержант Небогатов.

— Ефрейтор Климов.

— Какие планы, лейтенант? — спросил Небогатов после короткого знакомства.— Наши планы — рвать в Беловежскую пушу. Давно бы туда ушли, да патронов нет: я тебя на голом халате останавливал.

— Ну, для страховочки я за спиной стоял,— хмуро усмехнулся Климов.— А у меня ножичек гитлеровский.

На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах.

— Вместе рвать будем.— От радости, что встретил своих, Плузников сразу забыл о своем решении сражаться в крепости до конца.— Патроны есть, ребята, чего-чего, а патронов хватает. И еда имеется, консервы...

— Консервы? — недоверчиво переспросил ефрейтор.— Шикарно живешь, лейтенант.

— Веди сперва к консервам,— усмехнулся сержант Небогатов.— Уж и не помню, когда ели-то в последний раз. Так, гризем чего-то, как крысы.

Плузников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, малоприметную для непосвященных, рассказал об огнемётной атаке и гибели тети Христа. А про немца, что навал на них огнемётчиков, рассказывать не стал: объяснить этим ожесточенным, черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было бессмысленно.

— Мирра! — еще в подземелье закричал Плузников.— Мирра, это мы, не бойся!

— Какая еще Мирра? — насторожился сержант. Он первым пролез в каземат, и не успели еще Плузников с ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал:

— Миррочка, ты ли это? Глазам не верю!

— Небогатов?.. — ахнула Мирра.— Толя Небогатов? Живой?

— Духлый, Мирра! — смеялся сержант.— Копченый, сушеный и вяленый!

Светяся от радости, Мирра тащила на стол все, что припрятывала. Плузников хотел было запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлен, шутил с Миррой, а ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку настороженно и, как показалось Плузникову, недружелюбно.

— Житье тебе тут, лейтенант, прямо как беловежскому зубру.

Плузников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра отошла от стола, спросил угрожно:

— Она что, тоже с нами пойдёт?

— Конечно! — с вызовом сказал Плузников.— Она хорошая девочка, смелая. Только крыс боится!

Но Климов не намерен был шутить. Переглянулся с Небогатовым, и по тому, как сержант опустил глаза, Плузников понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями.

— Хромая она.

— Ну и что? Не настолько уж она...

Плузников запнулся. Открытая хромота Мирры было бессмысленно, но даже если бы она была аб-

солотно здорова, хмуры эфрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой: это Плужников сообразил сразу.

— Я и сам собирался довести ее до первых домов...

— До первой пули! — жестко перебил Климков. — Где дома, там и немцы. Нам обходить дома нужно да подальше, а не переть прямо к ним в военной форме.

— Странный разговор! Не оставлять же ее, правда?

— Пусть сама выбирается. Только после нас, а то на первом же допросе продаст ни за понюшку. Чего молчишь, сержант?

— Брать с собой нельзя, — нехотя сказал Небогатов.

— А бросать можно? Я тебя спрашиваю, сержант: бросать можно?

В гулком, пустом подвале далеко разнеслись звуки, и Мирра слышала каждое слово. Тем более что теперь они уже не сдерживались, забыли о ней, словно решали сейчас не ее судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для Мирры самым важным была сейчас не ее судьба, хотя сердце замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее тут. И, несмотря на этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на все их аргументы.

Съехившись в самом дальнем и темном углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мирра слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее собственной судьбы.

— Ну, ты сам посуди, лейтенант, куда нам такая обуза? — приглушенно говорил Небогатов. — За вешним обводом — поле, там по-пластунски километра два ползти придется. Сможет она ползти?

— С хромой-то ногой! — вставил эфрейтор.

— О чем вы говорите! — громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев. — О себе вы все время говорите, только о себе! О своей шкуре! А о ней? О ней подумать ты способен?

— Тут думать — не думаю...

— Нет, будем думать! Обязаны думать!

— Не подойдешь ты к домам, — со вздохом сказал сержант. — Ну, никак не подойдешь, понимаешь? Совались мы, пробовали: везде патрули, везде охрана. Что ночью, что днем. До сих пор оцепление вокруг крепости держат, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты говоришь: думать.

— Мы Красная Армия, — тихо сказал Плужников. — Мы Красная Армия, это вы понимаете?

— Красная Армия? — Эфрейтор громко, зло рассмехался. — Ты еще комсомол вспомни, лейтенант!

— А я его не забывал! — крикнул Плужников. — Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью!

— Нету больше Красной Армии! — заорал Климков, и непрочное пламя копилки загорелось, загорелась над столом. — Нету Красной Армии, нету никакого комсомола! Нету!

— Молчать!

Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся:

— Командуешь?

— Не командуя, а приказываю, — сдерживаясь, негромко сказал Плужников. — Как старший по званию. Приказываю провести разведку, найти возможность пробраться в город и доставить туда девушку. А потом будем думать о собственной шкуре.

— Такой, значит, разговор! — продолжая улыбаться, спросил Небогатов. — А если не подчинимся? Должишь по команде? Рапорт напишешь?

— Подожди, Толя, — перебил Климков. — Глупо ссориться: нужны ведь друг другу.

— А мы не ссоримся...

— Ближайшая задача: переправить Мирру в город. Все остальное — потом.

— Не пойму, кто ты: дурак или контуженый?

— Тихо, Толя! — Эфрейтор перенулся через стол. — На кой хрен тебе эта калека, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял: жалко товар. А эту колченогую...

Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников коротко, не замахинаясь, ударил в него кулаком. Эфрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил автомат, рывком взвел затвор:

— Руки на стол!

Эфрейтор медленно отпустил рукоятку, сел, положил перед собой большие жистые руки. Плужников знал, что диски их автоматов пусты, но их было двое, а он один.

— Сволочь, — тяжело дыша, сказал Климков. — Дерьмо ты, лейтенант. Окопался тут с бабой... Войну переживаешь?

— Выходи по одному через лаз, — резко скомандовал Плужников. — Предупреждаю, что не шучу: автомат у меня заряжен.

Он повел стволом в сторону заваленного выхода, коротко нажал на спуск. Сухие выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали.

— Мы не можем уйти без оружия, — тихо сказал Небогатов.

— Берите свои автоматы.

Они молча подняли пустые автоматы.

Климков первым подошел к лазу, потоптался, хотел что-то сказать, но не сказал и вышел из каземата.

— Выход наверх — направо, в самом конце, — сказал Плужников сержанту.

Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил.

— Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры.

— Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из крепости.

Плужников молчал.

— Будь человеком, лейтенант, — умоляюще сказал Небогатов. — Мы же сдохнем здесь без патронов.

Плужников прошел в темноту, ногой придвинул к сержанту непочтую цинку.

Металл нестерпимо резко проскрипел по кирпичному полу.

— Спасибо. — Небогатов поднял ящик. — Мы уйдем этой ночью, слово даю. А только ты все равно дурак, лейтенант.

И нырнул в лаз.

Плужников машинально поставил автомат на предохранитель, сунул его на обычное место — он всегда оставлял его возле лаза, — вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. — Нет, не думал, что Климков и Небогатов, зарядив в подземелье оружие, ворвутся в каземат, но на душе его было тяжело и неспокойно. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи сменилась тупым отчаянием, и переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг потерял силы. Слово эти двое украли, вырвали из него и унесли с собой часть его веры, и эта потеря была ошущима до ноющей физической боли.

Гнев его прошел, осталась смутная, гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце.

Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову: рядом стояла Мирра.

— Ушли,— вздохнул он.— Я патронов им дал. Хотя этой ночью из крепости вырваться.

— Я не могу стать на колени,— дрожащим, натянутым голосом вдруг сказала она.— Я не могу стать на колени, потому что у меня протез. Но я стану, когда сниму его. Я стану на колени, я...

Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их, а она схватила эту руку и начала испуганно целовать ее.

Он испуганно рванулся, но она не отпустила, а крепко, двумя руками прижала к груди. Как тогда, в подзаемье, только в тот раз эта его рука держала взведенный пистолет.

— Я боялась, я так боялась.

— Что уйдешь с ними?

— Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты не такой.

— Какой — не такой?

— Не тот, кого я люблю. Молчи, пожалуйста, молчи! Я помню, какая я, не думай, что я могу забыть это. Меня всю жизнь жалели: и дети и взрослые — все жалели! Но когда жалеют, отдают половинку, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты протгнал этих, ты не бросил меня, не оставил тут, как они тебе предлагали! Я же слышала все, каждое слово слышала!

Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как с ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливости, и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, излить всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь.

— Я же никогда, никогда в жизни и помянуть-то не смела, что могу полюбить! Мне же с детства, с самого детства все-все только одно и твердили: что я калека, что я несчастная, что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом говорила, потому что жалела меня и хотела, чтоб я привыкла к этому, привыкла и не страдала бы больше. И я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят, а я что могла построить, о чем помянуть? Я, может быть, глупости сейчас говорю и даже наверное глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, я боюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я дура набитая, что нашла время влюбиться. А разве мы виноваты, что время такое, разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь, боюсь в тишине остаться, боюсь того, что ты скажешь сейчас...

Плутников обнял ее, нежно и бережно поцеловал в дрожащие, распухшие губы. И почувствовал кровь.

— Это я губы грызла, чтобы не закричать. Когда они уговаривали тебя.

— Больно?

— Меня никто никогда не целовал. Наверху — война, а я такая счастливая, такая счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется. — Мирра прильнула к нему, говорила еле слышно, почти беззвучно.

— Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись, а я рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам осталась...

Перепрыгивали и говорили и никак не могли наговориться. Лежали рядом, укрываясь шинелью и бушлатами, сограваясь общим теплом, и сердца их бились одинаково бурно или одинаково устало.

— А твоя сестра похожа на тебя?

— Наверно, нет. Она похожа на маму, а я — на отца.

— Значит, у тебя был красивый папа. А это очень важно.

— Почему?

— Счастливым внуком всегда бывает похожим на деда.

— А счастливая внучка?

— Тоже. Скажи... Только — честно, слышишь? Обязательно.

— Обязательно.

— Честное-честное-пречестное?

— Честное-пречестное.

Она помолчала, повзрослела, поллотнее укрываясь его.

— Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня?

По тому, как робко, приглушенно прозвучали эти слова, он понял, как важен для нее ответ. И еще крепче обнял ее.

— Моя мама будет очень любить тебя. Очень.

— Ты обещал говорить честно.

— Я говорю честно. Они будут очень любить тебя. И мама и Верочка.

— Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать.

— В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу. Самому лучшему. Может быть...

— Нет. Ничего не может быть. Может быть только протез.

— Сделаем протез. Самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя больная нога.

— Какой ты удивный!... Она нежно провела рукой по его заросшей щеке. — Знаешь, мы не сразу поедем в Москву. Мы сначала поживем в Бресте, и моя мама немножечко тебя растолстит. А я буду кормить тебя морковкой.

— Я похож на кролика?

— Морковка очень полезна. Очень, потому что, мама говорила, в ней есть железо. И когда ты растолстешь, мы поедем в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль. И Мавзолей.

— И метро.

— И метро. И еще мы обязательно пойдём в театр. Я никогда не была в настоящем театре. К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он сехал со своего места. Понимаешь?

— Ну, конечно. Мы все посмотрим в Москве. Все, все. А потом уедем.

— В Брест?

— Куда пошлут. Ты забыла, что твой муж — кадровый командир Красной Армии?

— Муж... — Она тихо, радостно засмеялась. — Как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, муж мой, крепко-крепко.

И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а было двое. Двое на Земле — Мужчина и Женщина.

— Ты когда-нибудь видела аистов?

— Аистов? Каких аистов?

— Говорят, они белые-белые.

— Не знаю. В городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг спросил о них?

— Так. Вспомнил.

— Тебе не холодно?

— Нет. А тебе?

— Нет, нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту, последнюю ночь сказал мне, что ты застыл.

— Как застыл?

— Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь и только женщина может тогда отогреть. А я не знала, что я женщина и тоже могу кого-то отогреть... Я отогрела тебя? Хотя немножечко?

— Я боюсь растаять.

— Ну, ты смеешься.

— Нет, я говорю правду: я боюсь растаять возле тебя. А поверку ходят немцы, по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замыслили: начали расчищать площадку возле Тереспольских ворот. Сейчас я пойду наверх.

— Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя.

— Нет, Миррочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей крепости.

— Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернешься ты или...

— Я вернусь. Я просто ухажу на работу. Ведь ухажу же мужа на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа.

Еще не успев подняться наверх, Плузников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля: тракторы таскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плузников поначалу решил не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он все-таки двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одинокий патруль, а на большее он и не мог сейчас рассчитывать.

Прошлый раз он ходил левее: его тогда интересовал берег за поворотом Мухавца. Но сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с Миррой— сейчас сама мысль эта была для него ужасна,— и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог подобраться к трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог напомнить им, что хозяин этой крепости.

Теперь он шел осторожно, куда осторожнее, чем тогда, когда уперся грудью в автомат Небогатов. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить поверху, могли услышать его шаги или увидеть самого сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места, а в темных нишах подполз, останавливался, настороженно вслушиваясь.

Он услышал близкие шаркающие шаги именно в одной из таких глухих, беспросветных ниш. Кто-то шел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь приглушить шум. Плузников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрягся, ожидая того, кто так беззастенчиво топал по подвалам, достаточно светлым от бесчисленных дыр и проломов. Вскоре совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и озабоченно:

— Озяб я. Озяб.

Плузников готов был шагнуть из ниши, потому что сказано это было так по-русски, что никаких сомнений уже не могло остаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг зашел. Зашел жалобным детским голосом, бессмысленно и туло:

Васька-савраска,
Шурка-каурка,
Ванька-буланка,
Сенька-гидей...

Плузников замер. Что-то страшное и беспросветно безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же:

Васька-савраска,
Шурка-каурка,
Ванька-буланка,
Сенька-гидей...

Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал в луч света, совсем рядом с Плузниковым выйдя из-за поворота. И Плузников узнал его, узнал сразу, несмотря на свалившиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал и шагнул навстречу:

— Волков? Вася Волков?

Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, туло глядя безумными, отсутствующими глазами.

— Волков, да очнись же! Это я, Плузников! Лейтенант Плузников!

— Шурка-каурка...

— Вася, это же я, я!

— Васька-савраска...

— Да очнись же ты, Волков, очнись! — Плузников схватил его за грудь, встряхнул.— Это я, я, лейтенант Плузников, твой командир!

Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на чьем-то? Все это только промелькнуло в голове Плузников; спросил он о другом:

— Ты почему ушел тогда, Волков?

Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий, необъяснимый ужас, который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плузникове.

— Вася, успокойся, Вася...

Волков встал с силой оттолкнул Плузников и, задыхаясь и тихо вореща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плузников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задохнувшись солнцем и простором, забыл о Плузникове и снова затаил в одиночестве, что хранил еще его воспаленный разум:

Васька-савраска,
Шурка-каурка...

Плузников рванул к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым чувством почувствовал топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над его головой.

— Шурка-каурка...

— Халит! Цурук! —

— Ванька-буланка...

Ударил выстрел, но оглушительное этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плузников взлетел по осыпавшимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск.

Он не разобрал, попал ли в кого — хотелось думать, что попал! — смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко вспопало бегали немцы, гулко прогromели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плузников опять ушел, затерявшись в развалинах. Отдыхал в глубокой дальней воронке, переполз открытый участок и нырнул в свою дыру.

Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он долго —

¹ Халит, цурук — стой, назад.

дольше обычного — стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова, понимал, что Волков испугался его — не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова, но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике.

Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя дорогу. Нашупал ласк, беззвучно нырнул в него и замер: впереди, в тускло освещенном каземате, тихоно звучал тонкий девичий голос:

Очаровательные глаза,
Очаровали вы меня,
В вас столько жизни, столько ласки,
В вас столько неги и огня...

Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пении, которое так трагически оборвалось, и этим — задумчивым, нежным, девичьим — был слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала его сердце, и он с трудом сдержался, чтобы не застонать.

Я опущусь на дно морское.
Я поплыву за тобой.
И дам тебе все, все земное...
Лишь только ты люби меня...

Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив: именно это открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война все выворачивала наизнанку, даже их первую любовь.

Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не сплунуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А потом понял, что хочет заплакать, и — улыбнулся. Слез не было.

Все-таки он звякнул автоматом, и Мирра сразу замолчала. Он шагнул к столу, и она нежно потянулась к нему, потянулась вся — доверчиво, тепло и наивно.

— Сейчас я тебя покормлю. — Она прошла в темноту, к стеллажам. — Знаешь, эти противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко.

— Откуда ты знаешь эту песню?

— Меня научил дядя Рувим: он из Первого мая премировал патефоном с пластинками. Он замечательный скрипач... — Она засмеялась. — Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима.

— Знаю?

— Конечно, знаешь. — Мирра притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила. — Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда — представляешь, какой ужас? Боже мой, от чего иногда зависит счастье... Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда...

— Если бы я тогда не захотел есть, — усмехнулся он.

— Или если бы вдруг сел на другой поезд...

— А я и сел на другой поезд, — сказал Плужников, помолчав и припоминая то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату. — А знаешь, почему я сел на другой поезд?

— Почему? — Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись слушать.

— Я был влюблен... Целых тридцать шесть часов. И он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула.

— Должно быть, эта Валя — очень хорошая девушка.

— Почему ты так решила?

— Потому что она была в тебя влюблена, — сказала Мирра, полагая, что этой характеристике вполне достаточно. — А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет мака — это еще не голод. Голод, когда нет хлеба.

— Хлеба? — Плужников достал вычерченную старшиную схему. — Ты не помнишь, где была пекарня? — Пекарня — за Мухавцом. А вот здесь был основной продсклад и столовая. — Мирра показала на колыбельные казармы, что шли по берегу Мухавца. — Я ходила туда с тетеи Христин.

— Вот где он брал еду... — задумчиво сказал Плужников.

— Кто?

Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому:

— Я о сержанте вспомнил. О Небогатове.

И Мирра не стала расспрашивать.

Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при жизни тети Христы Плужников нашел пилотку, в отворот которой была вшита игла с длинной черной ниткой, и женщины целый день радовались тогда этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти: расческу и пуговицы, кусок шагата и мятый котлет. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрadowала его.

Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками: уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в украинском, патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выжиная огнематами и забрасывая гранатами особо подозрительные и темные казематы. Однажды Плужников издаലെка видел, как из развалин, лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, немцы вывели троих без оружия — заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости.

— Никакого хлеба, — категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочесывать развалины. — Обойдемся.

— Придется обойтись, — сказал Плужников. — Но поглядеть я все-таки вылезу: интересно, что это они так замечательны?

— Обещай, что будешь осторожен.

— Обещаю.

— Нет, ты поклянись! — сердито сказала она. — Скажи: чтоб я так жива была.

— Ну, кланусь.

— Нет, ты скажи!

— Чтоб ты так жива была, — послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался наверх.

В этот день немцев заметно пихордило. Отряды маршировали по дорогам, повсюду выдвигались патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никак не мог двинуться от своей дыры, хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть

повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затевает противник.

Полз он долго и осторожно, терпеливо отлеживаясь в воронках. Полз, как не ползал уже давно, скользя по земле, обдирая локти и колени, царапая щечки о кирпичные обломки. Где-то совсем рядом бродили немцы, он слышал их голоса, стук их сапог и лязг оружия. Он только чуть приподнимал голову, чтобы оглядеться и не потерять направления, и, даже добравшись до костела, не убежал в него, а вполз и замер, забиравшись в нишу.

Тяжелый смрад от необузданных трупов стоял в костеле. Плузников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку — они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету; — и он разглядел разбитый станковый пулемет у входа и семь трупов вокруг: почти все они были с зелеными петличками пограничников на гимнастерках. Видно, держались здесь до последнего патрона, потому что вокруг не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулемет стоял на том же самом месте, где когда-то стоял его пулемет, только пролом стал еще более широким.

Все это Плузников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мучило от тяжелого, вязкого запаха, спазмы сжимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Добрался до разрушенной, заваленной обломками лестницы и полез наверх. На площадке лежало еще два полуразложившихся трупа, он миновал их, не задерживаясь и поднимаясь все выше и выше.

Так он взобрался на самый верх: здесь дул ветерок, он смог отдышаться и передохнуть. Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну: из него должен был открыться вид на южную часть цитадели и Тереспольские ворота.

По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодезе костела раздалась гулкая шага. Плузников замер, вжимаясь в стену: позиция была неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы — а в том, что в костел вошел немецкий патруль, у него не было ни малейшего сомнения, — если бы немцы поднялись по лестнице только на один поворот, они бы в упор увидели его. Увидели в положении, в котором он физически не мог принять бой.

Снизу раскатисто и гулко доносились голоса: слов разобрать было невозможно, да Плузников и не пытался понять, о чем говорят немцы. Он стоял, затрав дыхание, замерев в неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются ли к нему или все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркнула зажигалка, запах паленой тряпки медленно всплыл к Плузникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его: немцы палили тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеревались пробираться в глубину костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, приглушенно звучали только голоса: видно, патрульные расположились у входа, решив зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плузников осторожно перевел дыхание и огляделся.

Карниз был узок, засыпан битой штукатуркой и осколками кирпичей, но у Плузникова уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, так другие, более выносливые или более старательные немцы рано или поздно обнаружили бы его. А там, в глубокой оконной нише, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал сегодня жизнью.

Мучительно долго Плузников пробирался по кар-

низу. Цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стену, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под его ног с шумом осыпались штукатурка, он замирал, но внизу по-прежнему глухо бубнили голоса. Наконец добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу.

Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту Буга за ним, разрушенные здания на том берегу. Дорогу, которая вела от моста возле Тереспольских ворот, сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжелыми артиллерийскими системами. И на дороге и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев, только на дороге они были построены по обеим сторонам, вдоль обочин, образуя коридор, а на площадке выдерживали правильное каре, и в центре этого каре стояло несколько фигур, вероятно, офицеров. Это строгое построение было непохоже на то, когда раздавали кресты, какое оно когда-то разогнали вместе со старшиной. Это было куда эффектнее и торжественнее, и Плузников никак не мог понять, для чего немцам понадобился весь этот парад.

Откуда-то донеслась музыка: он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры: одна из них была в темном плаще, вторая — покрупнее первой и потолще — в странном полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шло еще несколько человек, в которых Плузников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, что шли впереди, на генералов не были похожи, но почести, которые оказывались им, музыка, игравшая в честь их прибытия, — все это убеждало, что немцы принимают здесь, в его крепости, каких-то очень важных гостей.

Ох, как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейка, пусть без оптического прицела! Он хорошо стрелял и, даже если бы и не попал на таком расстоянии в одного из этих гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает воевать. Но винтовки у него не было, а затевать стрельбу из автомата на таком расстоянии представлялось абсурдом. И он только шепотом выругал себя за несообразительность, стукнул кулаком по кирпичам и продолжал наблюдать.

Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских ворот. А миновав башню, появились снова: уже в крепости, в четком четырехугольнике, образованном замершими солдатами. Музыка смолкла, один из офицеров, печатая шаг, пошел навстречу прибывшим и отдал рапорт: Плузников не слышал этого рапорта, но видел, как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский строй, а затем двинулись к выстроеным в линию артиллерийским системам. Они стали внимательно осматривать их, а рапортовавший офицер почтительно давал пояснения.

Плузников так никогда и не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета сорок первого года. Не знал, иначе выпустил бы весь дым в сторону фашистского парада. Не знал, что видит сейчас уменьшенную расстоянием крохотную фигуру того, чей личный приказ обрушил 22 июня в четыре часа пятнадцать минут первый залп на эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и дуче итальянских фашистов Бенито Муссолини.

Много дней Плузников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что он боялся привлечь шумом патрули — после того парада, свидетелем которого он оказался, немцев в крепости стало значительно меньше, — а потому, что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон аммуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться и, подняв кирпич, некоторое время держал его на весу, прежде чем положить. Он перекопал множество развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов и разбитого оружия. Ничего похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились сухари, кончились концентраты, оставалось совсем мало сахара, а мясные консервы Мирра уже ела с трудом. И поэтому он упорно, каждый день перекладывая с места на место эти проклятые кирпичи.

...Гранная осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, но за день ватник промокал насквозь, а высушить его было нелегко. Правда, он раздобыл еще четыре ватника, Мирра строго следила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже поселилась в клеimate, и незаметно день ото дня все росла и росла, и теперь он чистил оружие два раза в сутки.

А немцев все-таки стало значительно меньше. Правда, днем они по-прежнему патрулировали в крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали, а те двое, что как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать: Плузников снял их одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы вспоилились и бросились прощиваться развалины, но он отлежался в глухом каземате, а ночью вернулся к Мирре.

— Не стреляй, — умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого и измученного. — Если бы ты только знал, как я боюсь за тебя. Как я боюсь!

Появились в крепости и гражданские: они прибывали целыми группами, даже с лошадьми. Разбирали завалы, вывозили трупы и кирпичи: Плузников сам видел, как они расчищали костел, как грузили на телеги то, что осталось от семерых пограничников. Он попытался было наладить с ними контакт, но немцы охраняли их очень бдительно и постоянно торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за Большим дворцом, откуда Плузников шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды целую группу женщин. Их тоже стерегли: они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль дороги. Под вечер пришли машины, женщины погрузили кирпич, машины уехали, а женщин построили в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро они опять появились и снова принялись разбирать кирпичи. Он наблюдал за ними целый день, но выяснил только, что у них есть полчасиковой перерыв на обед. А поговорить с ними, похлопать, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день ловил такую возможность. Мирра очень волновалась тогда:

— Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жив!

Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни женщинам и оставил пустые попытки. Сначала надо было найти хлеб.

Он уже глубоко залез в вырытую им же самим яму, высоко обложился кирпичами, и теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто

выглядывая поверх кирпичей, чтобы не нарваться на какую-либо неожиданность. Он теперь и мерз быстро и устал быстро, задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный ритм и начинало стучать, выламывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, терпеливо ожидая, когда войдет в норму.

Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными: белый порошок просыпался из них на землю. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал. И вздрогнул: душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери.

— Пудра, — улыбнулась Мирра, когда он принес ей единственную уцелевшую коробочку. — Неужели на свете еще есть женщины, которые пудрятся, красят губы, завивают волосы? Может быть, и мне в первый раз в жизни напудрить нос?

— Там много. Хватит и на лоб и на щеки.

— Много? — Она нахмурилась, что-то старательно припоминая. — Подожди, подожди. В столовой был ларек венторга. Был, был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом.

Он рыл в этом месте с ожесточением, порой забывая об опасности. Рыл, задыхаясь, ломая ногти, в кровь разбивая пальцы. Отбрасывал в сторону какие-то черепки, битые бутылки, обломки ящиков. И наконец под кирпичами, еще не видя, нащупал грубую ткань мешковины.

До глубокой ночи, на ощупь, он откапывал этот мешок. Дважды осыпались кирпичи, заваливая его работу, и дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И наконец сумел вытащить его — целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нащупал толстые шершавые квадраты стандартных армейских сухарей.

Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытаскивал сухарь, поднес к лицу: не видя, ощутил запах — густой дух ржаного хлеба. Он изрядно вдыхал его, не чувствуя, что весь дрожит, дрожит не от холода, а от счастья. Он лизнул этот сухарь, уловил влажную соленую точку, не поняв, лизнул снова и только тогда сообразил, что на кровавый армейский сухарь каплют его слезы. Слезы, от которых он отвык настолько, что перестал их ощущать.

Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был едва ли не самый радостный день в их жизни. И Плузников был счастлив, что смог доставить Мирре эту радость.

Последнее время он частенько заставлял ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, пыталась шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мирра никогда не жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно ласкала его, задыхаясь от слез, любви и отчаяния. Плузников подозревал, что причиной ее слез и тоски была однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту. Он хотел бы отыскать для нее что-нибудь, кроме сухарей и консервов, но не знал, где и не знал что.

— Ну, а если помечтать? Давай вообразим, что я волшебник.

— А ты и есть волшебник, — сказала она. — Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника?

— Вот и загадай волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть будет самым невозможным. — Фаршированную щуку. И большой соленый огурец.

У него мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного: еще в темноте.

— Не ходи сегодня,— робко попросила Мирра.— Пожалуйста, не ходи.

— Выходной кончился,— попробовал отшутиться Плужников.

— Не ходи,— с непонятной тоской повторила она.— Побудь со мной, я так мало вижу тебя.

— Все равно не увидишь, даже если останусь.

Они сэкономили жир и закигали теперь только одну пошлу. Густая черная мгла плотно обступала их со всех сторон: они давно уже жили ощупью.

— И хорошо, что ты меня не видишь,— вздохнула Мирра.— Я сейчас страшная-страшная.

— Ты самая красивая,— сказал он, поцеловал ее и вышел.

Чуть светало, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушался, ничего не расслышал, кроме монотонно морозящего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. Благополучно миновал дорогу и через кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья.

Кажется, где-то здесь в первые часы войны прятали раненых. Здесь умирал старший лейтенант, в чью смерть ему когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже вытащили, но стойкий запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте, и Плужников шел осторожно, словно боялся наткнуться на того, кто лежал здесь с первых часов войны. Он искал бойницу, укрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Дыры, проломы и щели во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпич, поставил рядом автомат и приготовился к долгому ожиданию.

Странно: он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым, но постоянные опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застав в животной неподвижности. Он вспомнил, как давным-давно, еще до войны, ждал, когда его примет начальник училища. Вспомнил свое молодое нетерпение, надрезанные сапоги, уютную, мягкую, чистую гимнастерку. «Через год вызовем вас в училище...» Через год! С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год... Вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущаю, а время надо прожить.

И еще он думал о маме и Верочке. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут захватить Москву. Они могли перебраться за Минск, могли даже вести бой где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная Армия продолжает вести ожесточенные бои, перемалывает фашистские дивизии, был убежден, что перемелет и пойдет вперед, и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны было еще очень далеко, но он твердо рассчитывал дожить. Дожить, встретить своих, доложить, что крепость не сдана, отправить Мирру к маме в Москву и вместе с Красной Армией идти дальше. На запад, в Германию.

Наконец-то он услышал шаги: не солдатские — четкие, словно собранные воедино, а гражданские — шаркающие, будто рассыпавшиеся. Выглянул к Белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади и по две с каждой стороны этой нестройной, шаркающей колонны. Только у первых и замыкающих он разглядел автоматы, а те конвоиры, что шли по бо-

кам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это наши винтовки с примкнутыми трезгранными штыками. Разглядел и понял, что женщины стерегут не только немцы.

Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвоиры разошлись по постам, а женщины направились к развалинам, прямо на него, и Плужников отпрянул в темноту. Негромко переговариваясь, женщины отдыхали перед началом работы: кто присел на кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными, одинаково озабоченными, а кроме отрывочных русских фраз, слышались и белорусские и какие-то иные, совсем непонятные: то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать. Он отложил это до следующего раза, до того времени, когда изучит этот подвал и найдет безопасные пути отхода.

Светлое пятно его бойницы вдруг стало темным. Сначала он не понял, что произошло, и качнулся назад, еще глубже уходя во мрак. Но бойница опять просветлела, хотя и изменила свои очертания. Он взглянул: в нише лежал узелок. Обычный женский узелок из головного платка, связанного концами: кто-то из женщин сунул его сюда, в подвальное окошко, в защищенное от тусклого осеннего дождя место.

Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпичи. Развязал платок, развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся: никогда еще ему так не везло, никогда. Шесть варенных в мундире картофелин, луковича и щепотка соли лежали в этом узелке.

Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, согбенные фигуры женщин, мохнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не зная об этом, сделала сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских сухаря, завязал, как было, четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой и луковичкой спрятал за пазуху и ушел в самый дальний и самый глухой отсек подвала. И до ночи сидел там, грыз сухарь и думал, как обрадуется сегодня Мирра.

Ты действительно волшебник?

Он рассказывал ей о подвале Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином.

— Ты как будто не рада?

— Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю.

— Это тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу.

— Глупый,— с какой-то странной болью выдохнула она.— Боже мой, какой ты еще глупенький у меня!

Она приняла к нему, уткнувшись в грудь лбом, три запала. Слезы капали в недоодевшую тряпчатку.

— Что с тобой Миррочка, да что же с тобой?

Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее лицо, он видел огромные, полные тоски глаза: в слезах дрожал робкий фтилек коптелики.

— Миррочка...
— Мы должны расстаться,— тихо, словно через сито, сказала она.— Родной мой, муж мой, мой единственный, мы должны расстаться с тобой.
— Расстаться?— Он ничего не понимал.— Как расстаться? Почему расстаться? Зачем? Ты заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай!
— У нас будет маленький.
— Маленький? Как маленький?..

Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума, леденящий страх одиночества.

— Видишь, я нормальная женщина.— Странная и неуместная нотка гордости прозвучала в голосе Мирры.— Я нормальная женщина, и случилось то, что должно было случиться. Вероятно, это— счастье, даже наверное это— огромное счастье, но за счастье надо платить.

— Не уходи,— с тупым отчаянием сказал он.— Только не уходи.

Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние. Мирра медленно покачала головой:

— Нелзя,
— Да, да, я понимаю, понимаю.

Он уже отстранился от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она пригнулась еще ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим, выпалым щекам, он сидел, не шевелясь, словно окаменев.

Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что он тоже должен свыкнуться с этим, как свыклась она. А Плужникову хотелось кричать, хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить в немцев все снарядные диски, хотелось погибнуть, потому что боль, которую он испытывал сейчас, была страшнее смерти. Но он сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что все пройдет: он уже мог вынести все, что возможно— и что невозможно, мог вынести тоже.

Наконец он вздохнул и шевельнулся. Мирра ждала этого вздоха и сразу заговорила тихим, печальным голосом, словно уже прощаясь навсегда:

— Если бы не маленький, если бы не он, Коля, я бы никогда не оставила тебя. Я думала, что так и будет, что я умру немножечко раньше, чем ты, и умру счастливой. Ты моя жизнь, мое солнышко, моя радость, все— ты, все, что у меня есть. Но маленький должен родиться, Коленька, должен: он ни в чем не виноват перед людьми. И должен родиться здоровеньким, обязательно здоровеньким, а здесь... Здесь я каждую секунду чувствую, как убывает его силы. Его силы, Коля, уже не мои, а его! Каждой женщине бог дает немножечко счастья и очень много долга. А я была счастлива. Я была так счастлива, как не может быть счастлива никакая другая женщина во всем мире, потому что это счастье дал мне ты, ты один только мне одной. Дал вопреки войне, вопреки немцам, вопреки моей судьбе, вопреки всему на свете! Я знаю, что тебе тяжелее, чем мне: ты останешься один, а я уйду с собою кусочек твоего будущего. Я знаю, что сейчас идут самые страшные часы нашей жизни, но мы должны, мы обязаны пережить их, чтобы жил он, наш маленький. Ты не беспокойся, я уже все продумала. Ты только поможешь мне пробраться к этим женщинам, а уж они выведут меня из крепости.

— А там?

— Там— мама, не беспокойся! Там— мама и родственники. Столько родственников, сколько у евреев, не бывает ни у кого на свете.

— Женщин водят строем,

— Кто заметит лишнюю бабу? Не беспокойся, милый, все будет хорошо! Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к мечтам, и дождики пойдут по четвергам. Так говорит дядя Михас: поминишь, он vez нас когда-то в крепость? Мы еще смотрели столб на дороге, и там, я впервые наткнулась на твою руку...

Она говорила, улыбаясь из всех сил, а из глаз неудержимо катились слезы. Они капали на руку Плужникова, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние слезы упали на ржавый армейский сухарь, и больше слез уже не осталось. И, вероятно, поэтому его пекло внутри, будто сердце обложилось горящими угольями.

— Ты должна идти,— сказал он.— Ты должна добраться до своей мамы и вырастить сына. И если только я останусь в живых...

— Коля!

— Если я останусь в живых, я найду вас,— строго повторил он.— А если нет... Ты расскажешь ему о нас. О всех нас, кто остался тут под камнями.

— Он будет молиться на эти камни.

— Молиться не надо. Надо просто помнить.

Они вышли в темноте и благополучно добрались до развалин Белого дворца, хотя Мирре это было трудно. Она очень ослабела, отвыкла ходить, да и дорога была не для ее протеза. Местами Плужников нес ее на руках, и ему было не тяжело— таким исхудалым и легким было это родное, теплое тело. И там, в подвале, когда он уже разведывал выход и показывал ей, откуда будет смотреть на нее в последний раз, он усадил ее на колени, укутал и не отпустил уже до конца. Здесь они в последний раз попрощались, и Мирра осторожно вышла из подвала.

Она была в ватнике, как многие женщины, так же, как они, повязана платком, и на нее действительно никто не обратил внимания. Все молча занимались делом, и она тоже начала работать.

— Ну, чего же ты тут мучаешься!— ворчливо спросила какая-то женщина.— Нога, что ли, болит? А вторая вздохнула горько:

— Господи, и хромушку взяли, изверги. Ты поменьше ходи. Поди, вон, кирпич складывай.

Кирпичи складывали у дороги, и Мирре не хотелось уходить туда, потому что это было далеко от Плужникова. Но она не стала спорить, втайне радуясь, что женщины считают ее своей. Стараясь хромать как можно незаметнее, она отошла, куда велели, и стала укладывать целые кирпичи друг на друга.

Плужников видел, как она шла к дороге и укладывала там кирпичи. А потом поле зрения перекрыли валы женщины, он потерял Мирру, нашел снова и снова потерял, и больше уже не мог определить, где она. Не мог, но все смотрел и смотрел, приходя в отчаяние, что больше не увидит ее, и не подозревая, что судьба на сей раз уберет его от самого жестокого и самого страшного.

Вечерело, когда подошли конвоиры. До этого Мирра видела их лишь в отдалении: они либо грелись у костра, либо жались к утепленным стенам. Сейчас они появились и забежали: здоровые, продорванные от безделья.

— Становись! Быстрее, быстрее, бабы!

Старшими были немцы, но они не торопились уходить от костра, а колонну строили старательные охранники в серо-зеленых бушатах, вооруженные винтовками с прикинутыми штыками. Они исполнительно суеились вокруг медленно строившихся женщин, отдавая команды на русском языке.

— Разберись по четыре!

Мирра старалась забраться в середину колонны,





но женщины, выстраиваясь по четверкам, невольно выталкивали ее, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четверки, и снова отодвигали туду, где никаких четверок не было, а была одна она.

— Почему толкуют? — сердито закричал конвоир: он и старался больше всех и кричал чаще, чем остальные. — Разобраться по своим четверкам! Живо, бабы, живо!

— Мы разобрались, — сказал чей-то недовольный голос. — Да тут одна лишняя оказалась.

— Какая лишняя? Откуда лишняя? Не может быть лишней. Разберись, получишь!

— Да вот...

Сердце Мирры забилося стремительно и отчаянно. Конвоир шел вдоль строя, приближался к ней, и она заулыбалась ему из последних сил.

— Ты откуда взялась? — удивленно спросил конвоир, остановившись против нее.

— Из города. Не узнаете, кто ли?

— Из города?..

— Ну, пойдите же, пойдите! — с отчаянием выкрикнула Мирра, думая сейчас только о том, что Плузников все видит. — Пойдите, разве на ходу нельзя выяснить?

— Правда, идти пора! — недовольно зашумели женщины. — Весь день на холоду! И чего к девочке пристал: не убьют ведь, а прибьют.

— Прибьют?.. — озадаченно повторил конвоир. — Прибьют, значит? А откуда ты взялась тут, прибьют? Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя: Мирра едва устояла на ногах.

— Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?.. Господин обер-ефрейтор! Ах, зараза, ах, стера, выползла на божий свет! Господин обер-ефрейтор!

— Пойдите, — задыхаясь, бормотала Мирра, а он тряс сильной рукой за ватник, и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону. — Пойдите. Прошу вас. Пожалуйста...

— Откуда взялась? Откуда?

Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому неторопливому немцу, что шел к ним от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плузникова.

— Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишняя. Из подвалов, видите, вылезла.

Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо молодого немца, и это такое обычное усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще взрилась во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не тот — с красным замерзшим носом, а тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками перебивавший фотографии собственных детей.

— Юде! — закричал немец, уткнув в нее худой узловатый палец. — Юде! Бункер! Юде! Бункер!

— Ну чего к девочке привязались? — кричали женщины, конвоиры бежали вдоль строя, угрожающе покаяваясь штыками. — Иди пора, застыли! Девчонку-то оставьте, наша она! Да нет, не наша! Наша... Не наша...

— Юде! Бункер! Юде! Бункер! — выкрикивал немец, пята, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти подальше от той бойни.

Кажется, женщин все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в

ушах ее стоял звон, сквозь который прорывалось лишь два страшных слова: «Юде!» «Бункер!» «Юде!» «Бункер!» Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, шла, шла вперед, все дальше отгесняя немца.

И даже когда ее ударили — ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой, — она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и, казалось, не было силы, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался зади, и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча закрепленный протез.

Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет полькнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом беспощадном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напряглась в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь.

Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а, еще живую, торопыла, — заваливали кирпичом в неглубокую воронку за оградой Белого двора.

Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий ответ давно закатившегося солнца нехотя высветил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и насхеп заваленную воронку. Высветил и исчез, и небо вновь затянуло серыми осенними тучами.

Часть пятая

1

О н опять потерял счет дней. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перевернуться эти сухари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытие, приходил в себя и снова пил. А потом добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. Ел, насылая себя, потому что болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги.

Он потерял счет дням и поэтому не удивился, когда увидел снег. Стояла глубокая ночь, в черном небе горели звезды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив.

Вернулся почти здоровым, только шатало от слабости. Вскипятил на толковых шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился под все бушлаты. Теперь он опять верил в свои силы, опять всел счет дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число.

Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего участка, давно не охотился за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и радостный азарт. Он был жив и по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом брестской крепости.

Но, кроме этой основной задачи, существовала задача более узкая и более личная. Он думал о ней, словно втайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так, будто высокий поверяющий постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, задумал самовольно и уходил исполнять это тайное желание словно в самоволку от самого себя.

Он вдруг решил пойти на место своего первого боя, туда, где он потерял свой собственный пистолет. Не оружие вообще, а именно тот, номер которого был записан в его удостоверении. Свое первое личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что тот страшный немец с выбитой нижней челюстью являлся к нему в бреду, снова тянул его за ногу, снова улыбался мертвым оскалом, а Сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит от этого кошмара. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно первый день: встречу с Сальниковым и Денищником, первую атаку и первый бой. И то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет.

Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись перед тем, как исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражен открытием, грозившим самыми тяжелыми последствиями. Хотя снега выпало мало и он старался идти по кирпичам, за ним все-таки тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в костел, но возвращаться было еще опаснее: след оставался следом.

Поклебавшись, он решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что — может быть! — к утру выпадет снег и прикроет все нагоптанные им дорожки.

Свежий запах зимы хорошо выветрился все закоулки: он не чувствовал уже того смрада, что когда-то сплел его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему дотемно пришлось сидеть наверху, в оконной нише; уже давно закончился парад, гости удалились, а солдат увели. Он побирался по карнизам в полной тьме, чудом не сорвался, но все шло благополучно. Тогда сошло, но теперь веселый, радостный снег был союзником его врагов.

Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище: до него доносились и шум машин, и свелли скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного.

И чем больше он приглядывался, тем все неумолимее, все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях.

Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это: второе он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки он выбрал сам, сам струсил перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается: он не был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая была в него, когда предназначение ему пули попадали в уже мертвого пограничника.

Но это было потом. Потом, а тогда он ввалился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет... До этого или после? Нет, до: его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очутился, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стрелными гильзами.

Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки от автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные фляги, винтовки с разбитыми ложами и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов — мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный лосками, уже отзвучавшими навски, голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что он хранил их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он один, в немом одиночестве, но немота провалилась и одиночество отступило, и он понял вдруг, что прошлое — его собственности, его достояние и его гордость. И что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое. Самая горькая и самая звонкая доля его жизни.

— Смерти нет, — вслух сказал он. — И все-таки смерти нет, ребята.

Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле. Проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Плужников замер, прислушиваясь, словно провозжая звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то иной шум, что чуть доносился снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать: немцы оцепляли костел.

Они еще не замкнули кольцо и — может быть, нарочно, а может, второпях — оставили ему единственную щель: через пустырь к развалинам Белого дворца. Тенная фигура на снегу среди ясного дня: шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансов, он хотел жить, а если и умереть, то — свободным. И выпрыгнул из окна.

Он бежал, не оглядываясь, не прибавляя: ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полутиш услышал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули впарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натыкаясь на стены, потому что ни-

чего не видел после яркого света. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешено стучащего сердца.

Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги — еще далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая, куда, а желая лишь уйти от голосов и толпы.

Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследование, и с той поры, как проводил Мирру, не был здесь ни разу. И бежал сейчас вслепую, натыкаясь на тупики и завалы и все время слыша за собой топот преследователей. Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно прощесывали подвалы.

За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то стало прорываться в развалины кольцевых казарм, потому что казармы немцы оцепить не могли. Но тот, свой, знакомый ему участок казарм был уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район цитадели.

Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту: он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть поощала его: немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль казарм наперебей бегут люди. Бегут, не стреляя, надеясь взять его живым.

Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы оглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плюхал в ослабевших руках, он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и бросился в соседнее помещение.

Это была конюшня: ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу, у стены, и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, лихорадочно разбрав верхний смерзшийся слой. Снаружи еще случали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу. И завер только тогда, когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении.

Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным: натуженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал весь в поту от слабости и страха, потому что любящая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что он нигуда отсюда не ушел.

Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь, рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и что-то тяжелый медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипение звук, не понял и тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел: немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх,

снова вошелся в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вошелся, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грубые шаги и понял, что немец, коловоший его штыком, сошел на пол конюшни.

Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила рана на боку, он чувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеет, становятся чужими затеишие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасен, что еще раз выскокнет, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту немощь, что постепенно завладела телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одеревенел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело.

Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка присохла, и он не стал разглядывать, что там: перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел: ноги не слушались, а в одеревеневших мышцах началась такая боль, что он грыз руки, чтобы не закричать. А надо было идти, надо было добираться до своего каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег.

Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но не прошла. Шатаясь, он добрал до выхода.

Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока немец его вытаскивал. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий.

Он не шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толковые шашки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало ему о Мирре.

Он не переставал думать о ней, даже когда валился в бреду. В последний раз он видел ее у дороги: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она — там, среди женщин, которые приняли ее, как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытался и в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадался влезть в середину. А потом колонну увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было: только те, что уже прошли.

Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: перед ним лежали чистые, не запыленные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом.

А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды: все было погребено под вывороченными кирпичами. Все, вся его прошлая жизнь и все надежды на будущую.

Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском, патроны в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше ничего. Колени его

вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось.

А еще у него осталось яростное желание жить, мертвая крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм.



Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам.

Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками оружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались: наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы — калибр к калибру — и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу.

Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари — впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек был, как у новой, только он не был убежден, сработает ли по полуавтоматике: самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но ее можно было проверить только в бою: он снова набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника шел последний сухарь: первый он изгрыз еще ночью.

Он возился с винтовкой в незнакомом подвале; в узкий пролом проникнул свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услышал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул: невдалеке стояло трое. Один особо выделялся и ростом и сложением.

Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнувшим трехгранным штыком.

При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку: туло заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалась крови: штык нанес колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вечернее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немцами, кинжалным, а своим, родным, трехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о ней немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним; виноваты были руки, что повернули этот штык против него.

Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, лоя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С Плужниковым никогда не случалось такого, зрение его всегда было отличным, и все же он сра-

зу понял: он теряет зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.

Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подавал ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.

Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда и теперь предпочитал не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы.

И все-таки надо было искать место, где можно отлежаться: уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, пролом, сквозь которые можно было бы выбраться назад или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли.

Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом, сразу за уступом подвальной стены, в переходе настолько коротком, что никому бы не пришлось в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода: ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно, как в могиле, и, как в могиле, тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора: он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он сейчас лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей.

Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подойдут к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули, и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе.

Топот немецких сапог замирал в его теле: удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель.

— Пронесло гадов!

Он резко повернулся: голос звучал из темноты. Хриплый, задыхающийся. Сердце его забило в бешеном ритме.

— Кто?

— А ты-то кто?

— Свой!

— Ну, а я еще больше свой. Сколько вас?

— Один.

- Последний?
- Не считал. Да где ты тут?
- Обожди, свет загни. Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая...

Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую длиннопалую руку, хлопок черной, с густой проседью бороды. Рука подняла спичку к стоявшему на ящике огарку, и, когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, толку затянута ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестящие глаза и руку, которая тянулась к нему. И бросился к этой руке.

— Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целовать мы разучились. Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай. Вот так. И замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни огнеметами. Не взяли, не взяли!..

Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся — дрожал — и все говорил и говорил:

— Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да и ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной, какие муки вынес, как стерпел-то все?

— Стерпел, — сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седебородый. — Значит, один ты?

— Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом — четверо. А три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился.

— Кто будешь?

— Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелят — не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?

— Для немцев — правильно. А я-то свой, лейтенант Плужников.

— Какого полка?

— В списках не значился, — усмехнулся Плужников. — Что, моя очередь рассказывать?

— Выходит, твой.

Плужников рассказал о себе — без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по тому, как слабо пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного.

— Теперь можно и познакомиться, — сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. — Старший Семишный. Из Могилева.

Семишный был ранен давно: пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась три дня назад.

Плужников ночью притащил два ведра снега. — Ты зарядку делай, лейтенант, — сказал Семишный на следующее утро. — Нам с тобой распускать себя не годится: один остался, без сангачи.

Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя гнулся, разводил руки, пока не начинал задыхаться.

— Да, похоже, что одни мы с тобой, — вздохнул Плужников. — Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его, война бы еще легко кончилась. Здесь, у границы.

— Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? — усмехнулся старшина. — Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить! Сколько верст до Москвы, знаешь? Тыща. И на каждой версте такие же, как мы с тобой. Не лучше и не хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени. — Он вдруг посуровел и кончил жестко, почти зло: — Переукнул? Вот и ступай присягу исполнять. Убейте немца, возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даю: такой у меня закон.

Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестили в робком пламени свечи.

— Что ж не спрашиваешь, почему тобой команду?

— А ты начальник гарнизона, — усмехнулся Плужников.

— Право я такое имею, — тихо и очень веско сказал Семишный. — Имею право на смерть вас посылать. Ступай. — И задул свечу.

В этот раз Плужников не выполнил приказа старшины: немцы ходили далеко, а стрелять просто так, не наверняка он не хотел. Он явно стал хуже видеть и, беря на прищел далекие фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб.

Однако на этом отрезке колючевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это — женщины, те самые, с которыми Мирра вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о Мирре и передать ей, что он жив и здоров.

Он перебрел в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рисковал пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз, в подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за ним от колючевых казарм до этих развалин тянулся след, и на всякий случай надо было позабиться о возможном укрытии.

Он с трудом пробрался по загромажденной кирпичными лестнице, с трудом протиснулся вниз, в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усыян кирпичиками с рухнувшего свода, идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно, он пробиравался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту: вправо вел ход. Он пролез в него, сделал несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат: сверху, в узкую щель, проникал свет. Он огляделся: каземат был пуст, только у стены прямо против бойницы на шинели лежал труп в изорванном и грязном обмундировании.

Плужников присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. Густая черная борода покоилась на полуистлевшей гимнастерке. Сквозь разорванный ворот он увидел затылок, туго намотанное на груди, и почувал, что солдат умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов,

но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны.

Он хотел встать и уйти, но под телом лежала шинель. Вполне еще годная шинель, которая могла сослужить службу живым: старшина Семишный мерз в норе, да и самому Плузникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще поколебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью и мертвому была не нужна.

— Прости, браток.

Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата.

Он встряхнул шинель, пытаясь выбить везевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыжее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и труп в углу, и остатки черной боро-ды. И сказал дрогнувшим голосом:

— Здравствуй, Володык.

Постоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от Володыки Денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата.

— Мертвым не холодно, — сказал Семишный, когда Плузников рассказал ему о находке. — Мертвым не холодно, лейтенант.

Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плузникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а умирает.

— Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреть.

С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем уступал смерти каждый миллиметр своего тела.

— Стонать начну — разбуди. Не буду просыпаться — пристрели.

— Ты что это, старшина?

— А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им будет.

— Этой радости им хватает, — вздохнул Плузников.

— Этой радости они не видели! — Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе. — Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай!

— Ничего не понимаю. Чего святого?

— Придет время — скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем говорю это, верь. Отдохнул? Автомат в руки и — наверх. Наверх, лейтенант! Чоб знали: крепость жива. Чоб и мертвых боялись. Чоб детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться!

Плузников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружку. Плузников не спорил; в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но ненависть эта в отличие от ненависти Семишного была холодной и расчетливой.

В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил напав на него хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погоны, и ушел, потому что мела выюга и следы его не взяла бы и самая опытная собака.

Он увел погоню подальше от норы: почти к Холм-

ским воротам. Тут немцы окончательно потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе: доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет.

Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в забытие, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя, дрожал в смертном ознобе, и пот каплями застыл на лбу. И только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле.

— Видно, не дожить мне, — с глубокой тоской сказал он, придя в себя после очередного приступа. — Видно, тебе придется.

— Что придется?

— Помирать буду — скажу. Что, война кончилась?

— Непохоже.

— А чего сидишь? Патроны есть?

— Есть, — сказал Плузников, уходя в это метельное новогоднее утро.

А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков.

Плузников, торопясь, нырнул в лаз, в крошечной тьме нашарил последний огарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или из услышат. Он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить.

Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плузников подумал, что это конец. Но старшина открыл глаза:

— Я кричал?

— Кричал.

— Почему не разбудил? — Плузников промолчал, и Семишный вздохнул. — Понятно. Себя жалел? А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери нашей чужие сапоги топают...

Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались, и жили только глаза.

— Мы честно выполняли долг свой, себя не щадили. И до конца так, до конца. Не позволяй убивать себя раньше, чем умрешь. Только так. Только так, солдат. Смертью смерть поправ. Только так.

— Сил нету, Семишный, — тихо сказал Плузников. — Сил больше нету.

— Сил нету? Сейчас будет. Сейчас дам тебе силы. Растегни меня. Ватник, гимнастерку — все. Растегнул? Сунь руку. Ну? Чувешь силу? Чувешь?

Плузников растегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. И ощутил грубыми обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шлык знамени.

— С первого дня на себе ношу. — Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его рыдания. — Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил, смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Уми, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя — Родины нашей это честь. Не заплятай, лейтенант.

— Не заплятай.

— Повторю: кланюсь...

— Кланюсь, — сказал Плузников.

— ...никогда: ни живым, ни мертвым...

— Ни живым, ни мертвым...





— ...не отдавать врагу боевого знамени...
— боевого знамени...
— ...моя Родины — Союза Советских Социалистических Республик.

— Моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, — повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины.

— Когда помру, на себя наденешь, — сказал Семишный. — А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу.

Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников сказал:

— Двоих я сегодня убил. Метель на дворе, удобно.

— Не сдали мы крепость, — тихо сказал старшина. — Не сдали.

— Не сдали, — подтвердил Плужников. — И не сддадим.

Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и Плужников еще долго сидел рядом, думая, что Семишный жив, а он уже был мертвым.

Плужников снял со старшины знамя, разделся до пояса, обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время — и когда хоронил Семишного и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами.

Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится — ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее: свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим Родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибла. Важным было одно: важным было, чтобы звено, связывающее прошлое и будущее в единую цель времени, было прочным. И твердо знал, что звено это — прочно и вечно.

А поверку мела метель. Белым ковром укрывала земляники и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдивших городов.

Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа.

Еще не было Хатыни, и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый четвертый уже стрелял. Стрелял, и земля становилась для фашистской армии адом. И преддверием этого ада была Брестская крепость.

Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику. И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему. К непокоренному сыну непокоренной Родины...

Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и груди его тускло желтела большая шестиконечная звезда: знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой коювета. Звезда эта горела на нем, как проклятье, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несуразно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина сутулилась еще больше, каждую секунду ожидая удара, тычка или пули.

Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад.

Рядом резко затормозила машина. Его большие, чуткие уши безошибочно определили, что машина легковая, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками.

— Юде!

Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблук.

Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор.

— Говоришь по-русски?

— Так точно, господин майор.

— Садись.

Свицкий покорно сел на самый краешек заднего сиденья.

Здесь уже сидел кто-то: Свицкий не решился посмотреть, но уголок глаза определил, что это генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места.

Ехали быстро.

Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, новсе же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу, и почувал, что его везут в крепость.

И почему-то испугался еще больше, хотя тутась больше было, казалось, уже невозможно. Испугался, съехивлся и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась.

— Выходи!

Свицкий поспешно вышел.

Черный генеральский «корьх» стоял среди развалин.

В этих развалинах Свицкий успел разглядеть дыру, ведущую куда-то вниз, немецких солдат, опевивших эту дыру, и два покрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше — за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых — женщины разбирали кирпич; охрана, позавье о них, смотрела сейчас сюда, на черный «корьх».

Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант пошел к генералу с рапортом. Он докладывал громко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, находится русский солдат: утром он застрелил двух патрульных. Погоне удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода.

Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору.

— Юде!

Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется.

— Там, в подвале, сидит русский фанатик. Спустишься вниз и уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним — вас сожгут огнем.

3

Ранным апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувиш Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, развезженной колеями и гусеницами обочине дороги.

Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло в ветровых стеклах.

метами, если выйдешь без него — будешь расстрелян. Дайте мне фонарь.

Оступая и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась: начался заваленный кирпичом коридор.

Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос:

— Стой! Стреляй!

— Не стреляйте! — закричал Свицкий, остановившись. — Я не немец... Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня!

— Освети лицо.

Свицкий покорно повернул фонарь, моргая подслеповатыми глазами в ярком луче.

— Иди прямо. Свети только под ноги.

— Не стреляйте! — умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. — Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь...

Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом.

— Погаси фонарь.

Свицкий нащупал кнопку.

Свет погас, густая тьма обступила его со всех сторон.

— Кто ты?

— Кто я? Я еврей.

— Переводчик?

— Какая разница? Как я? Я забело, что я еврей, но мне непонятно об этом. Я просто еврей, и только. И они сожгут вас огнем, а меня расстреляют.

Он заглянул меня в ловушку, — с горечью сказал голос. — Я стал плохо видеть на свету, и они заглянули меня в ловушку.

— Их много.

— У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши?

— Понимаете, ходят слухи... Свицкий понизил голос до шепота. — Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили.

— А Москва наша? Немцы не брали Москву?

— Нет, нет, что вы! Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете?

В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкому стало не по себе от этого смеха.

— Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помогите мне, товарищ.

— Товарищ! — Странный, булькающий звук вырвался из гортань Свицкого. — Вы сказали: товарищ?.. Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова!

— Помогите мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слушаются. Я обнурусь на твоё плечо.

Костлявая рука сжала плечо скрипача.

Свицкий ощутил на щеке частое, прерывистое дыхание.

— Пойдем. Не зажигаю свет: я вижу в темноте. Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом.

— Скажешь нашим, — тихо сказал неизвестный. — Скажешь нашим, когда они вернутся, что я спрятал... Он вдруг замолчал. — Нет, ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусть ищут. Пусть как следуют ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я последняя ее капля... Какое сегодня число?

— Двенадцатое апреля.

— Двадцать лет... Неизвестный усмехнулся. — А я просчитался на целых семь дней... Двенадцатое апреля...

— Какие двадцать лет?

Неизвестный не ответил, и весь путь вверх они проделали молча.

С трудом поднявшись по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отступил плечо Свицкого, выпрямился и скрепил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел, кого он вывел из глухого каземата.

У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль вьелась в перетянутый ремнем ватник, сквозя дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные, обмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко скинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. Из этих немигающих, пристальных глаз неудержимо текли слезы.

И все молчали.

Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал.

— Назовите ваше звание и фамилию, — перевел Свицкий.

— Я русский солдат.

Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чем-то спросил.

— Господин генерал просит вас сообщить свое звание и фамилию...

Голос Свицкого задрожал, сорвался на вскрик, и он заплакал и плакал уже не переставая, дрожавшими руками размазывая слезы по впалям щекам.

Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд. И его борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке.

— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?

Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел.

Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и два санитары с носилками. Генерал кинулся, врач и санитары бросились к неизвестному.

Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине.

Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работающего мотора. И все стояли на своих местах, а он шел один, с трудом претворялся распухшие, обмороженные ноги.

И вдруг немецкий лейтенант, щелкнув каблуками, вскинул руку к козырьку... Солдаты выткнулись и заверили.

А русский солдат, качаясь, медленно шел сквозь строй опеченных врагов и ничего не видел, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше славы, выше жизни и выше смерти.

Страшно, в голос, как по покойнику, завывали бабы.

Одна за другой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли ему, поспевшему защитнику так и не покорившейся крепости.

А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и

шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел.

Возле машины.

Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза.

Упал свободным и после жизни, смертью смертью поправ.

Эпилог

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы: меньше суток идет поезд. И не только туристы — все, кто едет за рубеж или возвращается на Родину, обязательно приходят в крепость.

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком много помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы триста тридцать третьего полка, прикоснуться к оплавленным огнеметам кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела.

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь.

А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно останетесь возле знамени — единственного знамени, которое пока нашли. Но знамени ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга.

Крепость не пала. Крепость истекла кровью.

Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат.

Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на стендах и в экспозициях: большая часть их лежит в запасаниках. И если вам удастся заглянуть в эти запасаники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в воронке, недалеко от ограды «Белого дворца» — так называли защитники крепости здание инженерного управления.

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. При-

езжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул.

Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита:

«С 22-го ИЮНЯ
ПО 2-е ИЮЛЯ 1941 ГОДА
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ
(фамилия неизвестна)
И СТАРШИНЫ
ПАВЛА БАСНЕВА
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
ГЕРОИЧЕСКИ
ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ».

Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее. точно в почетном карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв: «НИКОЛАЙ».

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы объявляют, что люди не должны забывать билетов, гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина.

Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли...

Михаил Сосенков



Мои поля лесами огорожены,
К ним не проехать сразу напрямиком,
Мои луга в кустарниках заброшены,
Застенчиво закрылись поэзиям.
Мои цветы «анютиными глазами»
Из-под осыки, как из-под ресниц,
Глядят на мир застенчиво и ласково,
Не хмурясь перед вспышками зарниц.
Мой юный дуб ручонками упрямыми
Подскажет мне еще издалека,
Что не туман висит-плывет над травами,
А это за ночь разлилась река.
Мое село — рассветы все за горкою,
За крайней хатой издавна живут,
Здесь всех буренок кличут только
Зорьками

И всех девочек Светами зовут.

Сестра

Как и все, отец мой был солдатом,
Но еще он и поэтом был:
Уходя в поход в тридцать девятом,
Под окном рябину посадил.
И ушел. В тот год я и родился,
И в избе из-под прикрытых век
Засинел глазами, засветился
На отца похожий человек.
Мать глядит на выросшего сына,
Вдовья боль уже не так остра...
Ты — моя ровесница, рябина,
Ты, рябина, и моя сестра.



Июлем детство все прокатится,
Потом в какой-то тихий день
Мы вспомним: сад, коза-проказница
Пристала на чужой плетень.
И что тут делать со скотиною,
Вот так и лезет на беду!
И, замашнувшись хворостиною,
Увидим девочку в саду.
К ней каждая травинка ластится,
К ней наклоняется ветла,

И вся она в коротком платьице
Так не по-здешнему светла...
Мой взгляд задумчивый опустится,
Но лишь над буינוю травой
Мелькает белая капустница,
Как будто легкий бантик твой.

Владимир Беспалько



Уже желтеет роща изнутри.
Она напоминает табакерку:
откроешь свет, и музыка зари
негромко хлынет — снизу, сбоку, сверху.
Вмиг зазвучат деревья и дожди,
и вспомню я спокойно и невольно,
как ты писала: «Жди или не жди,
я жду тебя — мне этого довольно».
Уже белеет роща изнутри,
хрустит под каблуками хрупкий лед,
и резкий свет сентябрьской зари
издалека между стволов плывет,
скользит от горизонта, не спеша,
пронизывая желтыми лучами
кустарники, где птица — как душа,
поет от радости, а может, от печали.



Не поминаю лихом — лишь добром,
и как бы мог я вспоминать иначе:
дымок тумана, контур старой дачи
и солнце над обветренным кустом.
И запах подсыхающего сена,
и между туч мерцание звезд,
и ощущение светлой новизны
во всем, что до поры обыкновенно.
И озеро! Три озера в одном!
И песенку на ветке краснотала —
она легко и радостно взлетала
под солнечным и медленным углом.
Не поминаю лихом, вспоминая,
припоминаю чудные черты,
сквозь всю природу проступаешь ты,
далекая, любимая, чужая.



Н. КОЖЕВНИКОВА

КОМСОРГ

И по началу знакомства, когда только присматриваешься к собеседнику, замечаешь в Борисе Зарубине две черты — внимательность (к человеку) и естественность поведения. В том, как он смотрит, как слушает, — непритворная заинтересованность. Желание понять. Истинно интеллигентное, уважительное отношение к окружающим, к каждой отдельной личности. Отвечать на вопросы Борис не спешит. И ясно: такая неторопливость свидетельствует прежде всего о его ответственности за свои слова, о достоинстве, серьезности, «взрослости». А он молод. За плечами — школа, армия. Сейчас — 4-й курс машиностроительного факультета МВТУ имени Баумана.

Когда Борис говорит: «Чем больше спрашиваешь с человека, тем больше он может дать», — понимаешь, что больше всего спрашивает он с себя самого. Поэтому, видимо, и в школе был отличником и в институте — ленинский стипендиат; а главное, сумел заслужить уважение товарищей: не случайно уже на первом курсе его избрали в курсовое бюро ВЛКСМ (здесь ему поручили учебный сектор), а на третьем и четвертом он стал секретарем факультетского комитета.

И вот что любопытно: если быают люди с врожденными организаторскими способностями, то Борис

отнюдь не из их числа. Напротив, еще недавно был очень замкнут, книги нередко заменяли ему живое общение с людьми. «Нет, лучше уж самому все сделать, чем с просьбой к кому-нибудь обратиться» — так он считал до поры. И так жил — в школе, в армии. А в институте вдруг был выбран в курсовое бюро... Вдруг!.. Хотя, наверное, не совсем вдруг... Еще в армии Борис стал кандидатом в члены КПСС. А среди студентов-первокурсников, как известно, кандидатов партии немного. Но не это могло стать решающим. Решало другое: сможет ли Борис понастоящему работать с людьми, обладает ли даром непосредственного, живого общения — этого в первое время никто не знал. А сам Борис знал здесь еще меньше, чем кто-либо. Начиная работать в курсовом бюро, он скорее преодолевал себя, чем следовал естественным своим склонностям. По натуре неразговорчив, а приходилось много и доказательно говорить, беседовать по душам, убеждать. Первоочередным Зарубин считал всегда личную ответственность — уверенным можно быть только в самом се-

На снимке: перед лекцией. В центре — Борис Зарубин.

Фото А. КАРЗАНОВА.

бе! А оказалось, необходимо нести ответственность и за других, за тех, кого еще мало знал, к кому только-только пригласились. Ну а что ж теперь? Есть ли перемены? Бесспорно.

Вот как мыслят сейчас он сам. И это весьма немаловажно.

...Из стен института ты выйдешь квалифицированным специалистом, получишь определенные комплексы знаний и профессиональных навыков для работы на заводах, в лабораториях, НИИ. Но нельзя забывать, что придешь-то ты к людям! И, кроме тех научных знаний, ты должен обладать крайне необходимыми каждому из нас навыками человеческих контактов, умением общаться с людьми непосредственно, четко и бескомпромиссно.

Этот опыт учебными программами не предусмотрен. Где же его брать? Да, по сути-то, нечего далеко ходить — ищи и находи его вот здесь, в институтских стенах, рядом со своими сокурсниками, — в беседах, спорах, делах, повседневном общении с ними...

В будущем я хотел бы заняться научно-исследовательской работой, — рассказывает Борис. — И может показаться, что опыт организаторской работы мне не понадобится тогда. Но это глубоко неверно. Ведь все научные проблемы стоят сейчас на таком уровне, решающих в таком объеме, что трудиться над ними возможно лишь коллективно. Открытия у одиночек случаются крайне редко. А значит, нужно умение разделять работу на части, поддерживать живые контакты с коллегами. А то ведь если каждый замкнется только в своем, то далеко ли до тупика? Все рассыплется на детали, и целого не соберешь... Иначе говоря, в науке теперь без организационного опыта не обойтись. Ты помогаешь, тебе помогают — так складываются человеческие взаимоотношения, так выигрывает общее дело. Понять других и самого себя — конечно же, такому ни в учебниках, ни на лекциях не научат. Накопление опыта — только опыт. Здесь уже все от тебя самого зависит. А обрести опыт, как мне кажется, очень и очень помогает комсомольская, общественная работа... Умение руководить своими товарищами и учиться при этом (я не имею в виду лишь вузовские занятия) самому...

Руководить... В этом понятии масса оттенков. И масса сложностей.

— У нас в комитете комсомола, — говорит Борис, — я знаю ребят, поразительно преданных своему делу, можно сказать, подвижников. И в работе, что очень важно, сложились у нас не «руководители» стили, а, так сказать, сотворческий. Никто не «над», а все рядом, подле, желая поддержать, помочь, подсказать, если другому это понадобится. Такая дружеская, творческая атмосфера самих нас воспитывает: мы, даже не всегда осознанно для себя, постепенно и повседневно постигаем те основы человеческих взаимоотношений, без которых нельзя жить в нашем обществе. Большинство из нас станет не директорами и не руководителями многочисленных коллективов, а рядовыми инженерами. И будем мы общаться с конкретными людьми. И нас ведь тоже будут узнавать конкретно, близко, буднично. Как мы знаем друг друга в институтских группах. Как знает своих сокурсников комсорт. Перед сессией можно подойти к нему и спросить, что может «завалиться» на экзаменах. Он назовет пять-шесть фамилий и очень редко, как правило, ошибется. Не потому, что он так уж усердно изучает учебные ведомости, а потому, что видит, знает, как кто занимался в семестре, у кого сложные обстоятельства дома, в семье, кто занятия прескучал и по каким причинам. Мы в комитете узнаем об этих возможных «двоичниках» не для того, чтобы их пристращать. В конце концов они достаточно взрослые люди. Но иной раз

можно успеть предотвратить чей-то «завал», помочь хотя бы в оставшиеся перед экзаменами дни.

Для воспитательной, организационной работы у человека, конечно, должен быть особый талант, особый, можно сказать, склад души. Борис Забурин согласен с этим. Хотя, считает он, участвовать в общественной жизни — удел отнюдь не избранных. Тем более что работа в комсомольских комитетах или бюро никак не регламентирована. Сегодня понадобилось задержаться на два-три часа, а завтра, возможно, придется отдать делам и все свое свободное от лекций время. А домашние задания, самостоятельная научная подготовка на кафедре, в лабораториях, короче, все то, что так необходимо будущему специалисту, — разве этим можно пренебрегать? Времени! Вот проблема проблем. Именно личным временем приходится жертвовать для общественной работы прежде всего.

— Времени порой бывает очень мало, — соглашается Борис. — Но не от того, что тратить его на себя лично. От другого. Нередко бывает, то, с чем можно было бы справиться за час, отнимает значительно больше. Этого не предусмотришь, ведь, составляя план работы. И причины, мне кажется, в недостаточной дисциплинированности наших комсомольцев, в неградушимости наших организационных дел. Бывает, ишьешь человека, а он ушел и не предупредил никого. Мелочь? Допустим. Но время она «съедает». Комсомольской работой, как и всякой другой, невозможно всерьез заниматься без чувства ответственности. И это чувство необходимо в себе воспитывать — сознательно, строго. Есть еще одна причина, из-за которой работа комсомольцев в комитете занимает больше времени, чем могла бы. Существует солидная диспропорция — и не первый уже день — между деятельностью ребят-активистов и других членов ВЛКСМ. Надо же, чтобы работали все, чтобы каждый знал, за что он в ответе. Тогда не будет такого, что кто-то тащит на себе целый воз, в то время как другие спокойно за ним наблюдают. Иначе говоря, в комсомольской, общественной работе необходимо подвигать массовость. Но часто в пассивности наших ребят виноваты мы сами, члены комсомольских бюро, комитетов. Интерес же к общественной работе может возникнуть лишь в процессе непосредственного обращения к ней. Лишь тогда, когда ты чувствуешь ответственность за порученное дело, ты и члн о. А ведь часто бывает: дадут поручение комсомолу, а потом замолотятся и забудут поинтересоваться, как он справился с ним и справился ли. Естественное, что к следующему поручению человек может отстесниться спустя рукава. В каждом деле (особенно для новичка) необходимо осознавать его целесообразность. И почувствовать результат — это даст силы, энергию и заинтересованность для новой работы. Наши небрежности или недоработки в каком плане ведут к серьезным последствиям. Ведь главная задача — воспитание наших комсомольцев. Для завтрашнего дня, для будущего... Вот, например: не так давно надо было отправить в ночную смену на разгрузку эшелона с картофелем пятнадцать человек с факультета. Аврално. Ребята нашли. Случилось это в субботу, и у каждого наверняка были какие-то свои планы. Но объяснили ребятам: так сложилось — надо, и надо срочно. Если к каждому подойти вплотную да объяснить нормально, «некомандирским», языком, всегда можно убедить. И убедил. Ну, поехали ребята... А на следующее утро рассказывали: никакого картофеля не было. Разыскали им вагон с яблоками, они его и раскидали за два часа. А дальше делать нечего. С базы же уехать тоже нельзя: далеко, а автобус только к утру подойдет. Дожен. Так они и прославлялись без толку. Следующий

раз, когда к ним придешь,— поехать-то они поедут, но с каким настроением... Нас просят для какого-нибудь мероприятия организовать массовое участие студентов — мы организовываем. А вот о целесообразности иной раз не задумываемся. Но ведь это тоже входит в наши задачи. Дисциплина дисциплиной, но следовало бы поинтересоваться поточнее, чем будут заняты наши комсомольцы на той же овионной базе и нужно ли посылать туда всех пятнадцать человек. Ждут-то от нас не сленного повиновения, а творческого, осмысленного отношения к делу, к поручению. Без этого между активистами нашими и другими комсомольцами может возникнуть недоверенность. Не у всех ведь иной раз находятся связи разобраться, понять. Но убеждать, спорить необходимо — и с каждым в отдельности. Иначе будут ребята тебя все вместе слушать, но, как бы ты ни надрывался, барьера недоверия, недопонимания не перейти. А если видишь перед собой каждого отдельного человека и надо именно к нему пробиться, заставить понять, ты уж особые слова найдешь, особый подход. Индивидуальный, а значит, самый человеческий, самый верный... Пожалуй, если говорить совсем начистоту, я считаю главным в нашей работе не равенство, а не. Ничем его не заменишь — ни опытом, ни эрудицией, ни умом. И очень редко неравнодушие остается без ответа...

...Вполне возможно,— продолжает Борис,— что до окончания учебы в МВТУ я не буду все время комсоргом. Но устранимся, отойти вообще от общественных дел я уже наверняка не смогу. Как не смогу этого сделать прежний наш секретарь Володя Причинин — мой прямой предшественник. Он сейчас аспирант, занят научной работой на кафедре. Но, когда я должен был заступить на его место, как он мне помогал! Чуть ли не каждый день мы с ним встречались: советы мне давал, вводил, так сказать, в курс дела. И сейчас знаю — рядом с человеком, к которому всегда можно обратиться за помощью. Опыт организационной, воспитательной работы непременно должен передаваться вот так, от человека к человеку, по наследству. Без этого преемственности ни одно дело немислимо. И даже если человек знает, что не вернется больше к комсомольской работе, он не может не думать о своих преемниках, не может не беспокоиться, кто придет на его место. Это естественно. Вот когда наш факультет занял только пятое место по подготовке формирования строительных отрядов, помню, как Володя Причинин расстроился! Встретил меня и как набираться. «Что же это вы? — говорит. — Никогда у нас на факультете такого не было. Пятое место? Подумать только». Вроде что ему сейчас наши дела! Так ведь нет, болеет он за них, тревожится. Вызывает такой, экспансивный... И я уверен, он и в своей научной работе не сможет быть вялым, равнодушным — всегда, до конца, до последней клеточки будет выкладываться. Так уж воспитан. Таким стал, сформировался. И немалую роль здесь сыграла — я убежден — его комсомольская, общественная деятельность... Дряблость души — это, по моему, самое опасное в человеке. И некого в этом винить, только себя самого. Не зады своей душе работу, она и обмывает, как мускулы без физической нагрузки. Ничто не действует на человека так пагубно, как бездеятельность и одиночество. Вот поэтому мне кажется таким важным введение общественно-политической практики в наш учебный процесс.

В чем она заключается? Вот в чем.

В нее будет входить агитаторская, лекторская работа, выполнение общественных поручений, прослушивание факультативных курсов, повышающих наши теоретические знания. Организационно это ново.

Введение такой системы позволяет контролировать общественную работу каждого. Раньше ведь 40, даже 50 процентов студентов заканчивали вуз без элементарных навыков организационно-воспитательной работы. А как бы это пригодились им в будущей жизни! И еще... Как известно, в комиссию по распределению студентов после окончания вуза обязательно входит комсомольский актив — секретари комитета, бюро. А ведь это должности сменные. Вот я, к примеру, в прошлом году был в составе такой комиссии, подписывал характеристики дипломникам, а ведь знал-то из них не больше пяти-шести человек. Не пришлось мне с ними работать: Володя Причинин тогда секретарем был. Ну вот, подписываю характеристики, а там написано: он, мол, хороший. Я верю, не могу не верить: негативных сведений у меня нет. Но хотелось, чтобы были эти характеристики полнее и подоказательней. Оценки по общественно-политической практике, думаю, дадут нам вот такие более точные сведения о каждом из студентов, позволят подготовить фактический материал для комиссии по распределению. Что делаю, чем интересуюсь, как проявил себя в комсомольских делах — это все же поможет прояснить картину, даст какое-то представление о человеке, даже если ты не был знаком с ним лично... Ведь вот когда я уйду из секретарей, кто-то новый, кто придет на мое место, вначале так же мало будет знать моих ребят, как и я когда-то старшие курсы. Тут уж ничего не поделаешь. Только время может помочь и опыт. И тогда даже по самой скупой характеристике можно узнать лицо... Но все же главное, что даст введение общественно-политической практики, — это, конечно, возможность охватить активной организационно-воспитательной работой каждого из студентов. Потому что всем необходима такая работа души, без нее человек не может быть по-настоящему счастливым...

Я перечитала свои заметки о Борисе Зарубине и увидела, сколь кратко они и неполны. Но можно ли рассказать и объяснить все в одной короткой статье — ведь многообразный круг проблем, ежесекундно возникающих и решаемых комсомольскими активистами, комсоргами? Жизнь, ее повседневное течение, непреходящие малые и большие конфликты — все это неповторимо индивидуально и многогранно. Здесь уже понадобятся не журнальные статьи, а книжные исследования, где смелись бы наука, опыт, люди, поиск.

Опыт. О нем я и хотела рассказать на примере Бориса Зарубина. Опыт в начале самостоятельной жизни, в становлении личности и характера молодого человека наших дней.

Опыт. Процесс его накопления, создание определенного рода фундамента, на котором строится завтра и человек, необходимый этому завтра. Слияние личного и общественного — гармония жизни, создающая в конечном счете и гармоничную личность. Именно об этом и речь. Ему еще жить и жить, развиваться и ошибаться, исправлять и обогащаться, находить — Борису Зарубину, студенту МВТУ, секретарю факультетского комитета комсомола. Конечно же, он не идеален. Но он — в поиске.

Итак, опыт и поиск.

И обретение себя. Не для себя лично, но себя — для многих.



Мои друзья
Салих Атоуи
с женой Вани



Вечер.

Из произведений О. А. ВУКОЛОВА



Праздник.



Новый год.



Ожидание.

Л. ВИЛЬЧЕК

«ХОЧЕШЬ ЖИТЬ— БРОСКОМ ВПЕРЕД!»

Писатель-публицист Валентин Овечкин (1904—1968 гг.) широко известен как автор «Районных будней», яркой и правдивой книги о жизни деревни 50-х годов. Огромный ее успех несколько заслонил в памяти читателей другое, не менее интересное произведение — повесть «С фронтовым приветом». Публикуемая статья, основанная на материалах архива, показывает, каким сложным путем шел к этой книге писатель.

Война застала Овечкина на Кубани, в станции Родниковская. Он жил здесь на положении профессионального писателя, — после шести лет разъездной, корреспондентской работы в газетах Ростовской области и Краснодарского края.

Овечкин рвется на фронт. Его не берут — «нет разнарядки на писателя». Овечкин завидует своему другу Михалевичу, когда того наконец призвали. Он пишет (17 октября 1941 года):

«Эх, не пришлось, Саша, вместе повоевать. Ну, ладно, будем воевать порознь. А писать после об этой войне будем опять вместе».

Сколько несуществственных планов, сколько полуманных жизней! Да разве у нас только!

Даться буду заверски. И за белорусские, и за украинские колхозы, и за свой родной, где осталась моя молодость и лучшие годы».

Очень, по-своему, похоже на себя самого начал Овечкин пробиваться на фронт.

Из письма В. Овечкина А. Михалевичу 7 ноября 1941 года:

«Я получил повестку РККА, потом отставили. Все мои просьбы перед военкоматом не действуют — не требуется моя категория и должность, не дают разнарядки. Но все-таки нашел другой выход. Скоро все же уйду в армию. Уже живу в казарме, имею коня, обмундирование. Народ, с которым пойду на фронт, очень интересный, все — красные партизаны, добровольцы той и этой войны, есть отцы 2—3 и даже 6 сыновей, находящихся сегодня на фронте. Теперь уже твердо — скоро буду на фронте...»

Ополчение вскоре ушло на фронт. Но ушло без Овечкина. Буквально за несколько дней до заветного срока он был отозван из ополчения Краснодарским крайкомом ВКП (б) и направлен в газету Кавказского фронта. В «Боевой Крымской» Валентин Владимирович работал в «гражданской должности писателя» с



В. Овечкин. 1943 год. 4-й Украинский фронт.

30 декабря 1941 года по 8 июня 1942 года, то есть фактически все время, пока существовал фронт в Крыму.

С ликвидацией фронта прерывается журналистская работа Овечкина. Войну он продолжает в звании пехотного офицера, в должности агитатора полка.

Политработа в пехотной части — самый долгий период в армейской биографии Валентина Владимировича Овечкина. Он воевал на Сталинградском фронте, прошел с армией по многим районам юга России. «С каким чувством ступаю я на землю, которую сам отбивал у кулаков, сам пахал!» (письмо к А. Михалевичу 2 июня 1943 года). Писать ему, естественно, некогда. Почти все время он — в ротах, непосредственно под огнем. Единственное «литературное наследие» этой поры — записные книжки писателя, в которых мы находим сложное сплетение нескольких сюжетных линий.

Линия внешнего слоя — планы и заметки докладов, лекций, бесед, практических разборов опыта последних боев. Темы: разъяснение приказов Берховского Главнокомандующего; более всего и настойчивее — о дисциплине и снова о дисциплине, о храбрости и трусости, о присяге, о честности, недопустимости лжи, вводящей в заблуждение командиров. В скупых пунктах планов — чисто овечкинское упорство, умение неотступно осаждать тему, перебирать все ее возможные грани, связи. Так, если речь, скажем, о дисциплине, то уж разработаны эта тема от аспекта: «Дисциплина — как основа ленинского плана построения партии» — и до аспекта: «Дисциплина и внешний вид солдата, неопрятность поваров, расклябанность ездовых».

В заметках разбора опыта боя читаем: «Артиллерия часто была по своим...» У Овечкина это встречается неоднократно — и про артиллерию, которая бьет по своим, и про разведку, которая ориентирует неверно, но ни то, ни другое не пересмысливается образно, не выливается в трагедию; его вывод: «...слишком неповоротливая». Или «...очковитательство на фронте двойное преступление».

Агитатор полка В. Овечкин сознательно подчиняет себя унифицированному языку уставов и приказов. Высшая гуманность заключалась для него теперь в том, чтобы научить солдат и командира мыслить уставными положениями как категориями их собственной нравственности и мирозерзерпанции; раскрыть живое, человеческое содержание сухих строк устава — и вновь придать им форму коротких категорических формул.

Но неперно было бы сделать вывод, согласно которому «когда говорят пушки — музы молчат», Муза Овечкина не молчала. Она искала заграничные слова, пока писатель завоевывал право сказать их людям.

Как завоевал он это право, рассказывают те же блокноты: сюжетные линии второго их слоя — записи, протоколы ощущений, каждый раз вынесенные из только что доторженного боя. Истинны, передаваемые поному другим, он — далеко не умозрительно — испытывал на себе.

«...Перед вечером с горы — немецкие танки — 4 штуки. Яростный огонь... тук, тук, тук, как в дверь стучится — из танков... начинается драп. Я послан Сатновым задерживать бегущих. Удалось остановить группу человек 10, положить у сопки, занять оборону...»

23 февраля шел в цепи наступающей пехоты. Полк — взвод, человек 40... Только подошел и прилеп возле одного сержанта из 75 СБ — ранило его пулей в ногу выше колена навывлет. Интересно целкают разрывные, когда удараются о толстый бурьян вблизи. Будто кто-то стреляет над самым ухом.

Нервы вообще спокойны. Сам удивляюсь, будто три года уже на фронте и каждый день под пулями...»

И наконец наиболее сокрытые, глубоко залегающие слои, в которых как бы растворяются впечатления из двух внешних, проявляясь, всплывая уже в чисто писательских ассоциациях, образах.

На этом уровне дневниковая запись вдруг превращается в стихотворение в прозе.

«Мертвое поле, вспаханное снарядами, заброшенное пулями. Бурьяны. Пустота. Даже зверь ушел из этих бурьянов. Гуси пролетают над степью, и те летят высоко-высоко, распуганные зенитками и железными черными орлами».

В духлетнем бурьяне — развалины домов, каменные и саманные стены без крыш. Остатки сожженного еще осенью 1941 года села.

Как мы шли к нему ночью!

Ночь весенняя, но холодная, резкий ветер. Обрадовались — село, обгоревшее! Но подошли ближе — одна хата сожженная, другая — развалина, третья — без крыши, дымовод с трубой торчит над развалинами — все село прошло, хат 200 — все пусто, мертво.

Кто-то сказал:

— Мертвое село.

Да, мертвое село. Есть Мертвое море, есть Мертвые пустыни, это — Мертвое село.

Я бы никогда не стал восстанавливать это село. Так бы и оставил эти руины на 1000 лет. Водила бы сюда людей и показывал — здесь в 1941 году побывали немцы».

Все чаще рядом с деловыми пометками — фраза, моментальная сценка, образ, непрочно зафиксированные взглядом художника:

«Проволочные заграждения в реке...»

«...Был случай. Будка. Музыка. Каждый вздохнул. И все закричали: «Довольно! Не расстраивай!»

Все чаще паузы между двумя записями становятся незримым полем какого-то мучительного, драматического душевного боя — на поверхность выплывают разрозненные части, но по ним интересно, до внешнего холода в сердце, следить за подводным течением.

«Слепые и зрячие вместе работали в одной мастерской. Бывало, не различил, где слепые, где зрячие. Но однажды ночью погасло электричество. Зрячие бросили работу, а слепые продолжали».

Преимущество слепоты».

Эта тема — очень странная для Овечкина — будет возникать у него еще неоднократно. Само ее появление свидетельствует, что простота его прайды — сложная простота, результат мучительного раздумья и выбора. «Преимущество слепоты» — огромная этическая проблема. Не будем кривить душой — Овечкин-агитатор, пропагандист без колебаний готов использовать это преимущество, коль скоро оно ведет к победе, — таков первый слой дневников, о котором мы говорили. Овечкин знает: для победы нужна вера, пусть даже слепая вера и ее атрибуты: авторитет, регаии, символы. Эта вера должна быть очищена от любых рефлексий и не должна знать конкуренции ни с какой другой. Отсюда:

«Бангист на военном закрытом суде. Законченный враг. Дали 10 лет. Напрасно! Надо было полюбаваться, как типом, а потом расстрелять».

Но нравственным условием, на котором Овечкин принимает безоговорочную веру, является то, чтобы атрибуты веры не заслонили и не подменяли ее высокий человеческий смысл. Когда это случается, рождается самое — по Овечкину — страшное: циничский фашизм, своего рода религия без веры и человека:

«Фанатики, начетчики и циники. Циники, подобные неперушим попам».

Один циник. У него на всякий случай жизни такой классический пример:

— Н. работал на заводе номер 371. Завод разрушен. Он обязался убить столько, какой номер носил его завод. К. пришел в часть 137. Он обязался убить столько, какой номер носит его часть».

Так неожиданно постоянная для Овечкина тема о «механических людях» воскресает в удивительно точном образе своеобразно бюрократического сознания, вызывая у Овечкина острую неприязнь, глубокий нравственный протест, хотя в данном случае конкретная цель вроде бы замечательная, «контрольные цифры» достаточно высоки. Овечкину безразлично, с каким моральным прищелом убивают врага, он вдруг ощущает, что, делая объективно полезное дело, можно внутренне обесмыслить его убийством «души», идеи. Простые истины, за которые Овечкин порой сражался с отвагой, объяснимой, казалось бы, действительно лишь «преимуществом слепоты», на поверку — свидетельствуют фронтовым блокнотам — были итогом очень зрячего раздумья и выбора. Блокнотные записи в этом плане раскрывают удивительно многое.

Записи. О ком написано, неизвестно. Видимо, уже о грядущем герое:

«Есть люди честные, но лишь потому, что существует закон, карающий за нечестность. Этот же честен по природе своей.

Первые — материал для фашизма». За этим должно следовать одно из двух: либо глубочайшее презрение к человеку и апологетика кары, либо мудрое понимание: люди такие, какие есть; нельзя поощрять по-другому, но что касается большинства — не только их, но и моя, твоя, наша вина, если возникли условия, в которых в рост могло пойти худшее, а не лучшее в человеке.

О немцах: «...они вытоптали целые области, загладили города, устроили в музеях уборы, превратили школы в конюшни. И это делают не только земляки из Нидуха, надевшие солдатские шинели. Это делают приват-доценты, журналисты, доктора философии и министры...»

И о своих:

«После немцев написать — что действительно был сволочью, а кто только слуховухой. Резко — разграничить, прекратит травлю!

И вот тут же о других виновниках — об отступающих колхозах и виновных этого отставания, о председателе колхоза, о секретаре райкома, о тех, кто довел людей до равнодушия к советскому строю — до того, что они не чувствовали 12 лет преимуществ колхозного строя... И тут же — пришли фронтовики, и что они делают.

Может быть — серию очерков».

Так, отказавшись от себя самого, слившись с тем целым, что называлось Армия, и вновь обретя себя в тех условиях, в которых жил каждый солдат, Овечкин возвращается в литературу, вынося из боев выстраданные, испытанные суровой правдой времени темы.

Все чаще страницы его блокнотов пестрят пометками «Тема для рассказа», «Надо написать о...». Все чаще записи звучат как отрывки из еще не написанного, однако уже задуманного. Иногда выбор тем, избирательность зрения, настойчивость возвращения к одной из них, как всегда, у этого человека принимавшая форму одержимости, могут казаться странными. Действительно, почему его столь остро привлекает, скажем, тема отношения к населению освобожденных районов? Почему так остро волнует его: кто как вел себя при немцах?

Овечкину первостепенно важно, во имя чего надо отбить у врага ближайший поселок. Логика Овечки-

на в достаточной мере ясна: если те, кто ждет тебя в этом поселке, за людей не считаются, вычеркнуты навек из «своих» — то борьба за поселок оказывается борьбой за географическое понятие, а не за человека, в лучшем случае утолением мести, а это — трагическая дилемма, ибо с ее достижением жизнь теряет смысл. Поэтому залогом нравственного выживания в войне, залогом возвращения к жизни и представляется Овечкину утверждение: твой долг — освободить родных тебе людей, не по своей воле живущих под игом фашизма. Если они и не были сплошь героями, так ведь и твой героизм — результат прежде всего организации, частицей которой ты стал, а те были одиночками против организации. Поэтому поспеш — для того, чтобы вызволить из беды грешных смертных, могущих не дожить до твоего прихода. Микроупущение это емко выразил А. Твардовский:

Не пощади врага в бою —
Освободи семью свою.

Овечкин думает о жизни. Война теперь не просто озаряет героическим светом надежное и доброе в прошлом. Война сама — жизнь, в которой, как во всякой жизни, рождается доброе и злое.

«Каким дураком я был, думая, что война своим очистительным пламенем выжжет все языки», — пишет он А. Михалевичу 2 июня 1943 года. Нет, война не только сжигает худшее, но и уродует, оставляет долго не заживающие рубцы. Война сеет жуткие зерна зла, война еще и «оправдывает» его. Будущее — не прошлое, очищенное войной. Будущее будет таким, каким придем в него мы — пусть «с пустым рукавом», но только «не с пустой душой», в которой в священном, да, в священном огне, но выгорело все — способность любить, доброта, само желание жить. Только не с пустой душой. Это все острее понимает Овечкин. Одаждаж возникнув на страничке фронтового блокнота, не исчезает теперь все синтезирующий вопрос:

«Как будем жить?»

Писать о войне Овечкин начинает в должности военного журналиста в газете 51-й армии «Сын Отечества».

«...ровно 22 июня, в день рождения, я получил назначение на новую работу и потопал по фронтовым дорогам к месту... Сейчас пока не выезжаю, сижу в квартире, в небольшом селе, где мы расположились, и пишу очерки на материалы, который накопил в полку. А материала много!

...Сейчас мне легче стало писать на фронтовые темы, потому что прошел солдатскую жизнь, с курсов, с полка. Это опять дает мне такое же преимущество перед другими писателями, какое я имел, когда писал о колхозах...» — пишет он жене, Е. В. Овечкиной, 3 июля 1943 года.

Журналист В. Овечкин, если не считать оперативных корреспонденций — иногда за тремя подписями — Гильбух, Годяки, Овечкин, — обычно встречается, находит в изменчивой фронтовой обстановке то, что уже продумано и описано им в блокнотках до редакционной поры, словно реальность — это его материализовавшиеся раздумья, разумеется, несколько конкретизированные.

Ряд статей — страстный призыв вызволить из фашистской неволи близких — «освободи семью свою». Призыв этот в очерках обретает конкретный облик и драматизм, превращается в напряженную сюжетную ситуацию. Например, в очерке «Этого больше не будет» рассказано, как бойцы отдыхали в освобожденном селе, привыкли к обитаемой хате, в которой останавливались, полюбили их как родных, поняли: ни дед Шекин, ни Настя, его пенелстка, жена солдата, ни восьмилетний Колька не жи-

новаты, что остались при немцах, наоборот, это они, бойцы, виноваты, что не сумели в сорок первом их защитить. И вот теперь бойцы обещают: больше фронт не откатится, удержатся они здесь, соберутся с силами — пойдут дальше. Однако не удержались. Оттеснили их немцы всего на какой-нибудь километр. Так и стояли потом в обороне — с КП виден был дом старика Щекина. К зиме наступление возобновилось: в коротком бою вышли бойцы врага из села. Забегали погребцы в знакомую хату — и страшно, навек обжигающую холодом душу увидели картину. Всего только километр...

В другом очерке («Дорог каждый час») — всего только час:

«В одно село на Дону мы вошли, когда оно уже пылало, подожженное немцами с трех сторон. И жители не нашли мы — не было их и в погребах.

Нас встретил дед лет восьмидесяти, с трясущейся головой. И с ним пес его, испуганный, дрожащий, — вот все, что уцелело из живого в селе.

— Что было б вам, ребята, поспешить хоть на час! — говорил дед. — Ох, опоздали вы, родные! Вот, вот только что постреляли!»

...Война между тем, выжигая захватчиков, шла на запад, высвобождая для Овечкина его «опытное поле», давая воочию увидеть то, что так его волновало и мучило: как проявлялись люди в условиях оккупации, насколько прочными оказались те ценности, на которых держался его надежда и вера.

Очень сильное впечатление оставляет очерк «Два года немецкого «нового порядка» в хуторе Шевченко» — запись рассказа колхозников. Нервный накал этого очерка страшен. Но накал этот незрим — писатель подчеркнуто подавляет любые эмоции, которые могут затмить суть дела. А суть эта в том, что немцы сохранили на оккупированной земле форму колхозов. Почему, зачем? Очевидно, чтобы связать организацию, взаимовыгодность, круговую порукой... Следовательно — ведь может возникнуть мысль — колхоз — форма осуществления централизованной власти над крестьянином, форма его государственной эксплуатации.

Автор спокоен. Но это то спокойствие, когда «ни кровинки в лице». Он не произносит слов «родное — чужое», это — эмоция, а он требует сути: способ управления? Контроль? Распределения? Сколько выращивали при немцах? А прежде? Сколько забирали немцы? Сколько шло прежде для госпоставки? Сколько оставалось крестьянину? В какой зависимости от урожая? От труда? Он идет на рискованное, путающее сближение, чтобы на самом бескомпромиссном уровне принять бой за свою идею, за свою веру в колхоз как «самое справедливое устройство жизни в деревне», чтобы неопровержимым холодным анализом доказать: при немцах колхоза не было, была колония, коллективная форма хозяйствования при немцах отличается от колхоза в принципе — именно том, что она — «лишь для упрощения хлебозаготовок», что она — форма рабства, а не справедливости... Это «рукопашная» писателя, та самая рукопашная, которой «немцы не выдерживают».

...Мы уже говорили: многие оперативные материалы в газете «Сын Отечества» подписаны тремя именами: майор Гильбух, капитан Годякич, капитан Овечкин. Но один раз субординация и алфавит нарушаются: под материалом на первом месте стоит подпись Овечкина, затем — его друга майора Гильбуха и еще множество подписей. Материал этот — акт комиссии, расследовавшей злодеяния немцев в Селидовском районе, Сталинской области УССР. Документ столь страшен, что его тяжело даже пересказывать. Достаточно представить тридцатисемиметро-

вый, десять метров в диаметре ствол шахты, почти доверху, как сыпавшая яма, заполненный трупами, в том числе трупами женщин, подростков, даже грудных детей, расстрелянных немцами и подручными их из местных подпольцов.

Овечкин подписывает этот акт первым. Не в звании капитана, а в звании писателя. Писателя. Полюща память, совесть, гуманизма. Это символическое снятие официальной формы имеет для нас сейчас совершенно особый смысл, ибо еще раз говорит о том, как, какое право и логика привели Овечкина к одной из главнейших тем его военного творчества — теме освобожденного населения. Дневники вновь «материализуются», на этот раз в виде цикла очерков «Фронтные встречи». Мы уже говорили, как трудно шел к этой теме писатель, какие мучительные нравственные коллизии должен он был решить для себя.

Да, палачи, полиция, предатели — это в конце концов единицы среди десятков и сотен тысяч, им нет прощения, можно вычеркнуть их из жизни — и все тут. Мнение — единственное, что им воздвигает, — об этом очерк «Фрицева вдова». Но он писатель. Ему не уйти от ответа на вопрос: каков генезис предательства. Психолог углубился в анализ личности. Овечкина более интересует непосредственно социальный срез: насколько, например, соотносимо предательство с доверенной репутацией человека, с его отношением к труду, колхозу. Овечкин еще скрывает радость, когда обнаруживает: полиция — бывший «летун», начальник местной полиции — бывший уголовник-рецидивист. Но однозначная, ясная схема обнаруживает свою непригодность. Овечкину хватало мужества, чтобы признать: нет, все так просто, вот ведь — трудяга, вполне вроде бы положительный человек, но какие дьявольские в нем раскрылись потенции. И где, наконец, та грань, за которой вынужденная осторожность перестает в трусость, трусость — в предательство?

Страшно не простое создание — человек. Не семья, которое выживает или умрет, но всегда хлеб останется хлебом, поляны — поляны. Нет, не семья, а целое поле, в которое брошены разные семена, а какие взойдут — дело социальной культуры. А потому... Нет, борьба за колхозное дело для Валентина Овечкина не борьба за центнеры и надол, а непосредственная борьба за человека, отражение овечкинской концепции человека, чего порой очень не понимали критики, писавшие об Овечкине прежде всего как о знатном проблемном хозяйстве.

Война сожгла миллионы тех, которые «честны по природе своей». Многих она закалала, очистила, но ведь будущее придется строить и со вторыми. И от того, как решится эта нравственная коллизия, осознанная и впервые поставленная перед обществом В. Овечкиным, зависит теперь чрезвычайно многое: «как жить будем?» Будем строить грядущее виноватыми, «запуганными» — со всем вытекающим отсюда: стилем отношений, формами руководства, мерой демократизма? Или будем исходить из того, что было большое общее горе, оказалось — без убога в семье, но, памятуя это, мы будем все же строить жизнь человеческую, свободную, справедливую, полную доверия и уважения к людям.

Эта глубинная работа сознания и затвердела, кристаллизовалась в цикле «Фронтные встречи». Многие приметы позволяют думать, что этот очерковый цикл з значительной мере не журналистика, не прямая фиксация увиденного, а та же сложившаяся внутренняя лирическая тема в форме журналистики, в форме непосредственных наблюдений.

Овечкин тщательно «разводит» очерки по теме так, чтобы «прострелялся» каждый ее клочок. Очерк

«Жизнь заново» (частично та же тема — в очерке «Первое советское слово»: сплывал человек — вышел из окружения, да и остался в селе под фашистами, сдался. Но все же потом ему поверили, дали оружие — и все лучшее теперь реализовалось в нем; унижение, презрение к самому себе, своей трусости обратились теперь в действенную ненависть к врагу; до Берлина — еще героем успеет стать.

Рядом «Фрицева вдова». Жена полиция, сбегавшего с немцами. Теперь — полумертвая. Пусть. Не жаль. Эти — холоуи, уживавшиеся предательской властью, а не просто лишенные внутренних моральных устоев, инертные люди, «честные лишь потому, что существует закон, карающий за нечестность», эти — опора, ревностные служители законов, которые утверждают бесчестье, человеконенавистничество на земле.

И снова: «Марина». Уже знакомая нам грань темы: молодая, красивая женщина — трудно поверить, что к ней осталась равнодушной немецкая солдатия; но все вокруг подтверждают: когда с фронта вернется муж — она сможет встретить его, не опустив головы. Да, она не убила, скажем того немецкого офицера, что жил у нее в хате, видимо, не прогнала его и чрезмерной резкостью: берегла двух своих ребят. Но сейчас у всех радость — свои вернулись, а Марина стоит в стороне и плачет.

Из рассказов женщин и самой Марины выясняется: какой-то интендант из трофейной команды, разыскивавший брошенное немцами имущество... забрал у Марины пару банок немецких консервов и кулек сахара и укорил ее при этом: «Ишь, нахапала добра!». Все тут — немецкие постельяницы. Мы за вас кровь проливали, а вы с фрицами пугались.

...Да, конечно же, Овечкин тоже весьма упрощает тему, но ему важнее всего сейчас кратчайшим путем, устранив поводы, могущие обострить дискуссии, привести читателя к выводу:

«Жаль, что не застали мы этого интенданта. Поговорили бы с ним по душам. Дураки могут навредить нам сейчас в отношениях с жителями освобожденных районов не меньше, чем мародеры».

Так кончается одна из последних статей, написанных Овечкиным в Действующей армии.

Овечкин остается самим собою. Он не просто «отображает действительность». Он предлагает, какой ей быть. Война, понимает он, диктует свои законы, но война рождена фашизмом, а не нами, и законы войны принимаем не навечно, а лишь затем, чтоб ценой жертв, ценой превращения человека в «боевую единицу», безоговорочно подчиняющую свою волю приказу, отстоять как раз человека. Таким и определяется его взгляд в мир сквозь войну, война не как объект, а как призма, сквозь которую рисуется будущее.

Так он пишет. Сначала становится героем, прототипом для грядущих произведений своих. И на себе проверяет справедливость сухого уставного требования: попал под обстрел — не останавливайся, продолжай вперед.

Затем — журналист — ищет соответствия в объективной реальности, создавая предметную модель своего личного опыта, не образ еще, а живой образ.

И, наконец, реальность переосмысливается в символ, из «образа» превращается в литературный образ:

«Хочешь жить — броском вперед!»

Этой фразой заканчивается повесть Овечкина «С фронтовым приветом», произведение, вошедшее в все раздумья, весь трудный опыт, выплывший писателем из войны.

Игорь Халупский



Прыжок

Я помню первый свой прыжок
с пятиметровой вышки.
Рассвет на гребнях волн зажег
мерцающие вспахышки.

В ушах звучанье ветерка
пронзительные флейты.
Как под тобой вода тонка,
как высоко над ней ты!

И все-таки она манит,
зывает оготело,
и будто бы иглу — магнит,
притягивает тело...

В юности

Еще усталость кажется блаженством,
и сладость крепкой горечи горькая,
еще своим не овладела жестом
худая, полудетская рука.

И слов своих сильнее слово чье-то,
и грубоватость нежности нужней,
и дальнее гуденье самолета
родительского голоса
слышней...



Если бы узнало солнце это,
сколько раз в стихах оно воспето
за неисчислимые года,—
грело бы оно, как греет ныне,
или же, тускнея от гордыни,
охладело к людям навсегда!

Если бы сегодня птицы, травы
окутить сумели бремя славы,
песнями подаренную им,—
так ли быстро птица бы летала,
так ли ярко в зелень зацветала
или стал бы мир вокруг иным!

Ал. МИХАЙЛОВ

ОСТАНОВИМ КАРУСЕЛЬ!

Еще раз о песне

Рисунки И. ОФФЕНГЕНДЕНА.



В о второй половине прошлого года состоялось несколько дискуссий о современной советской песне. В них приняли участие поэты, критики, композиторы, исполнители, а также и те, к кому обращена песня, для кого она написана, кто ее слушает, воспринимает, напевает сам. Словом, дискуссии о песне имели довольно широкий отклик.

Эта статья, разумеется, не претендует на подведение итогов, но мне как участнику одной из дискуссий (в «Литературной газете») захотелось продолжить разговор в молодежном журнале, адресуясь главным образом к тем любителям песни, от требовательности и вкуса которых очень многое зависит. Кроме того, надо еще и еще поискать ответы на некоторые вопросы, возникшие в ходе обсуждения песенного творчества наших поэтов и композиторов.

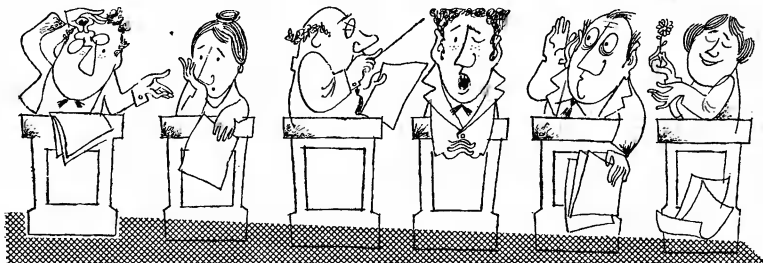
Чем же вызван столь острый и горячий интерес к песне, поскольку в дискуссии примерно в одно и то же время включались различные органы печати и — если учитывать огромный поток писем в редакции — сотни людей?

На этот вопрос ответить и просто и не просто. Просто потому, что песня с древних времен стала спутником человека от колыбели до глубокой старости. И в радости и в печали человек ищет созвучного настроения в песне. Слушая песню или напевая ее,

сопереживая певцу, поэту, композитору, он раскрывает душу навстречу добру и участию. Вот почему, коротко говоря, подавляющее большинство людей неравнодушно к песне.

Помните ли вы тургеневских «Певцов»? Помните ли, как песня преобразила и тех, кто ее пел, и тех, кто ее слушал, людей довольно разных характеров и судеб, порою заматеревших в пороке и пьянстве?..

Но состязание певцов закончилось полным торжеством фабричного рабочего Якова-Турка, который по душе был «художником во всех смыслах этого слова»: «Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга... Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, во, видимо, поднимаемый, как бодрый плавец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждало, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный на-



шим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех и увидел, что победа была его...

Вот она, колдовская сила песни, ее тайна, ее очарование. Со дня жизни, из глубины порока поднимает она людей, возвышая душу до понимания прекрасного.

Символически в этом смысле финал песни Горького «На дне» со знаменитой последней репликой Сатина: «Эх... испортил песню... дурак!» К кому относятся эти реплики: к Актеру, обманутому Лукою пьянице, потерявшему надежду вылезти из алкоголизма и покончившему с собой, или к Барону, так не вовремя ворвавшегося в ночлежку с этой вестью? Наверное, и к тому и к другому, но главное-то не в адресате, а в потере того мгновения внутреннего согласия и гармонии, в котором сошлись души пропащих людей.

В первоначальном замысле песни, по словам Станиславского, Горький хотел вывести ночлежников с наступлением песни на чистый воздух, на земляные работы, где бы они спели песни и под солнцем, на свежем воздухе, забывали о ненависти друг к другу».

Песня революционного подполья была оружием в борьбе против самодержавия. Первые советские песни, с которыми шла в бой красноармейца в годы гражданской войны, песни первых пятилеток, песни Великой Отечественной войны,— в них нашла отражение славная история нашего народа и государства.

Отважусь на страничку воспоминаний. Трагическая для нас осенью 1941 года, когда гитлеровские полчища затопили Украину, Белоруссию, Прибалтику, непосредственно угрожали Москве и Ленинграду, будучи молодым солдатом, услышал я песню на слова В. Лебедева-Кумача «Священная война»:

Вставай, страна огромная,
Встань на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Впечатление было огромным. Не раз сам я пел эту песню в солдатском строю и неизменно испытывал чувство великой решимости сражаться с врагом, чувство полного самоотречения во имя Родины.

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

И столько силы, столько убеждения и веры было в этих словах, в мелодии песни, в патетическом ее звучании, что каждый раз, слыша ее, я чувствовал, как мушкетеры бегут по спине, как постепенно исчезает усталость в теле, как прибавляется сил.

Прошло более тридцати лет с тех пор. Срок немалый. Но и сейчас, слыша «Священную войну» по радио в исполнении Краснознаменного ансамбля, я вновь с огромным волнением испытываю все те же чувства, которые испытывал много лет назад в суровое, трагическое и героическое время минувшей войны. Эта песня стала для меня, для людей моего поколения эмоциональным знаком того времени.

Ст. Лесневский, назвав несколько песен, в том числе и эту, заметил, что «их величие идет в первую очередь» не от текста и не от мелодии. «От всего вместе,— справедливо утверждает он,— а в наибольшей мере — от того, что за текстом и за мелодией,— от музыки времени...» Но ведь все же и от текста и от мелодии, ибо они отражают то, что за текстом и за мелодией. Взаимосвязь здесь полная, одно от другого отделить нельзя.

Совершая этот небольшой экскурс в прошлое, я хочу сказать молодым читателям: ни смерти, ни кровь, ни страдания не могли повлиять в человеке человеческого, нравственного, не могли подавить инстинктов

движений души. Ведь у каждого солдата где-то остались мать, жена, возлюбленная, просто знакомая девушка, и длительная разлука с ними, обостренная постоянной опасностью гибели, переживалась особенно глубоко. Так вот, другое, самое эмоциональное воспоминание о песне,— сурковская «Землянка» (хотя это стихотворение у Алексея Суркова не имеет названия, мы привыкли называть его уже как песню — «Землянка»). Её пронзительный лиризм, свобода и достоверность тона покорила с первого же знакомства. Это было так близко, так лично, словно песня выпела из твоей души

Встает в тесной пещуре огонь,
На поленьях смола, как слеза
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Главное здесь, конечно, состояние, выход чувства, эмоциональная разрядка. И бережно переписывая солдат песню на линованном тетрадном листочке, сосредотачивая в треугольнике и слева ей, как посылаю стихотворение Симонова «Жди меня», как посылаю другие стихи и песни, в которых нашла отражение другие чувства, переживаний, желаний и страстей. Понымаю солдат:

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами света и снега.
До тебя мне дойти несложно.
А до смерти — четыре шага.

Это была горькая и суровая правда. Выговорив ее, эмоционально освободившись своим признанием от гнетущего ощущения долгой разлуки, солдат оставался верным своей любви.

Пой, гармоника, выюте назло,
Запугавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Песни, подобные этой, были необходимы солдату на фронте.

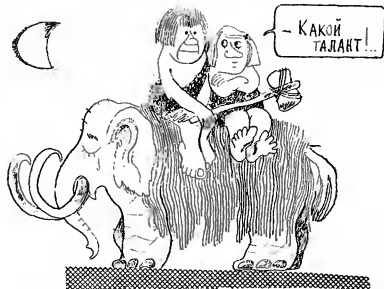
Однажды в Госпитале мне удалось на офицерский ремешок поменять старенькую, не шибко звучную гитару. Я привез ее в часть и около года таскал за собой по фронтам, пока однажды вместе с ротным имуществом она не попала под бомбежку. Бывало, в часы затишья или когда стояли в обороне, брал я в руки гитару и пел вот эти солдатские песни, пел, конечно, неважно, но, за неимением лучшего пел в роте, пользовался успехом. (Нигде после, бывая на концертах выдающихся артистов, в самых знаменитых концертных залах, я не видел такой благодарной аудитории!) Рота жила песней, ее совершенно не смущал дребезжащий, с фальшивинкой аккомпанемент старой гитары и прустяженный голос пелца, она опущала его волнение, и этого было достаточно, все остальное было в песне и в собственном сердце солдата...

У большинства людей, в том числе, конечно, и у молодых, есть какие-то воспоминания, связанные с песней, воспоминания о том, как та или иная песня вошла в жизнь, стала любимой. Может быть, не всегда запоминаются моменты встречи с песней, но сама она остается в памяти сердца.

Песня сопровождает его повсюду, она звучит по радио и с экрана телевизора, без песни не обходится почти ни один современный фильм, песни сопровождают работу и отдых.

Вот эта всеобщая причастность к песне, горячая личная заинтересованность в ней и даже ответ на вопрос, почему такой широкий отклик вызывают все дискуссии о песне.

А почему не просто ответить на этот вопрос? Да потому, что амплитуда вкусов необычайно велика,



и нередко бывает так: то, что нравится одним, решительно отвергается другими. Мы же знаем случаи, когда дешёвые и пошловатые песенные изделия, которые теперь прочно и навсегда забыты, получали широкое распространение и часто исполнялись, многими были любимы. Стало быть, речь идет также и о вкусах.

Молодой любитель песни, учащийся, писал в одну редакцию: «Чего вы требуете от автора песни? Вы требуете мастерства Исаковского, кажется, по меньшей мере. Но Исаковский у нас один. Остальные — это остальные... Вы, кажется, хотите сказать, что они бездарны. Но тогда чем же объясняется огромная популярность песен, написанных на их стихи?»

А другой, перечислив несколько популярных в прошлом, но явно плохих песен, о которых сейчас вспоминают с иронией, пишет: «Эти песни, однако, не поменяли людям, певшим их, отлично трудиться, героически сражаться на фронтах, наконец, петь действительно хорошие песни, когда они появлялись».

Легче всего просто отмахнуться от этих аргументов — дескать, что это за уроненья разговор об искусстве... Разобраться же в них не просто. Действительно, песни типа «Ландышей» на какое-то время завоевывали очень широкую популярность, и нельзя сказать, что их поют только люди с неравным вкусом. Нет. Поют и те, кто понимает, что это ширпотреб, ремесленное изделие. Поют иногда механически, не придавая особого значения словам, смыслу, а так, в силу инерции, поддаваясь «моде» на песню, а иногда как бы иронизируя, подсмеиваясь над собою. Но — поют!

И, может быть, еще потому, что наше искусство, наша поэзия и музыка не могут удовлетворить огромную потребность в песне произведениями только высокого художественного вкуса. Этим же, наверное, отчасти можно объяснить и достижения огромного размаха самодеятельное песнетворчество. Множество самодеятельных ансамблей и эстрадных коллективов имеют в репертуаре песни собственного сочинения. «Свои» песни есть у студенческих коллективов, у факультетов, строительных отрядов, бригад, колхозов, цехов, пионерских отрядов... Но это особая, обширнейшая и своеобразнейшая область песнетворчества, о которой в этой статье я только упоминаю, ибо подобный разговор о ней увел бы нас в сторону от основной темы. Ведь в самодеятельном песнетворчестве свои особенности, свои критерии, многие его произведения не лишены таланта.

Самое же это явление показывает, какое огромное место занимает песня в эмоциональной и духовной жизни человека и какую огромную потребность в ней должно удовлетворить искусство. Это, естественно, хорошо понимают те люди, которые профессионально занимаются сочинением песен. И, конечно, в большинстве своем они искренне, с полной отдачей сил и таланта стремятся удовлетворить потребность в песне.

Но нельзя ни на минуту забывать о том, что спродуцирует предложение и что наряду с подлинным искусством порою даже оперативнее, быстрее отвечает на спрос ремесленник, халтурщик, человек, лишенный способностей и таланта, но прекрасно улавливающий конъюнктуру, знающий, чем потягит незыскательным вкусом. Он и поставляет на песенный «рынок» изделия дурного вкуса, этаких размазанных рыночных лебедь в лазурном пруду. А если это сочинение исполнит популярный певец или певица, то и закрутится пластинка, запоет магнитофонная лента, зазвучит очередной «шлягер» над парками и садами...

Верно, конечно, что такой «шлягер» не помещает людям отлично трудиться, прямую зависимость тут установить нельзя, но вот петь действительно хорошие песни может помещать. Я не хочу быть излишне категоричным в этом споре, ибо, повторю, плохие песни иногда поют люди с воспитанным вкусом. Но уж воспитанию хорошего вкуса и пониманию истинно прекрасного у массы людей они не способствуют. Да и у тех людей, что отдают себе отчет в эстетических достоинствах «шлягера» и все же напевают его, притупляют вкус.

Ремесленные песенные сочинения и obligation людей духовно, эстетически, задерживают развитие художественного сознания народа — вот в чем заключается их отрицательное влияние на общество.

Сейчас особенно важно помнить об этом, так как воспитание гармонически развитого человека, человека нового, коммунистического общества — задача не какого-нибудь отдаленного будущего, а сегодняшнего дня. «Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как невозможен он и без соответствующей материально-технической базы», — говорилось в Отчете доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии.

Прекрасная наша певица Людмила Зыкина справедливо писала в «Правде»:

«В связи с качеством, характером песенного репертуара нельзя не сказать о низкой еще требовательности редакторов радио и телепередач. Ведь от их вкуса, культуры, гражданского темперамента во многом зависит отбор произведений, воспитание молодежи».

Часто говорят о триаде: поэт — композитор — певец. И это верно. И все же основа песни — слова, стихи, поэзия. В них содержание, смысл. Музыка помогает раскрыть этот смысл, она создает гармонию, во много раз усиливает эмоциональную природу поэтического текста. А иногда выразительная мелодия помогает скрыть убожество содержания. Так тоже бывало. И композитор в данном случае полностью разделяет ответственность за убогое содержание песни с автором текста, так как он выбрал его, этот текст, написал к нему музыку и таким образом способствовал его массовому тиражированию, широкому распространению. А будь он просто стихотворным текстом, никому бы и в голову не пришло печатать его из-за его убогости и поэтической несостоятельности.

Я касаюсь в данном случае этической стороны взаимоотношений композитора и поэта, которая распространяется и на исполнителя. Если бесодержательную, убогую по смыслу песню окрыляет музыкой композитор, если ее эмоционально украсит своим обаянием и искусством талантливых певцов, то не мудрено, что это ремесленное в своей основе сочинение подхватывают многие и многие люди, менее искусные в искусстве.

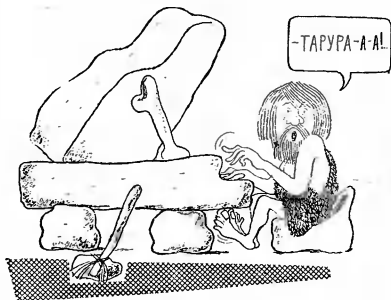
Мне не хотелось бы создавать у читателей журнала впечатление, что хороших, истинно поэтических, глубоких по смыслу и эмоционально возвышающих песен у нас нет. Они есть. Их не так мало. Но они теряются в потоке посредственности и серости, заполняющей не только эфир, но и бесчисленные эстрадные сборники.

Если бы я сейчас стал перечислять лучшие произведения песенного жанра, то, вероятно, сместился бы во времени в прошлое. Песня должна устояться в гармонии слов и музыки, должна найти своего исполнителя, чтобы прозвучать убедительно. Далеко не каждой хорошей песне сразу удается покорить сердца слушателей. Песня К. Ваншенкина и Э. Колмановского «Алеша» по-настоящему прозвучала после исполнения ее болгарскими певцами. Подобные случаи редки.

Признаюсь честно, мне захотелось еще раз вернуться к разговору о песне именно в критическом плане, так как не все было высказано в ходе состоявшихся дискуссий и немногого из сказанного было усвоено теми, кому надлежит отвечать за песенный репертуар в его массовой пропаганде. Так мне показалось.

Видимо, прав был Морис Поцхивалия, что «за последнее время песня приучила наш слух не к поэзии, а именно к «текстам». Видимо, прав Константин Ваншенкин, который говорит о том, что у нас почти утрачено органическое возникновение песни», что потребность в песне «киношников, театров, радио и телевидения, всевозможных локальных коллективов и т. п. вызвала к жизни профессию поэта-песенника, вернее, просто песенника, готового написать песни о чем угодно, когда угодно и сколько угодно. Это стало ремеслом. А было искусством». Полаа грустной иронии статья Булата Окуджавы «В защиту бездарности», где он точно вскрывает и внутренний механизм перерождения талантливых поэтов в песенников-текстовиков, в результате чего «такие талантливые поэты, которые по слабости или душевной, или безумной от успеха, или по иным причинам изменяют своему таланту и пекут «тексты слов» в громадных количествах, для любого композитора, на любой вкус...».

Налицо тесная взаимосвязь: именно появление таких мощных средств массового распространения и



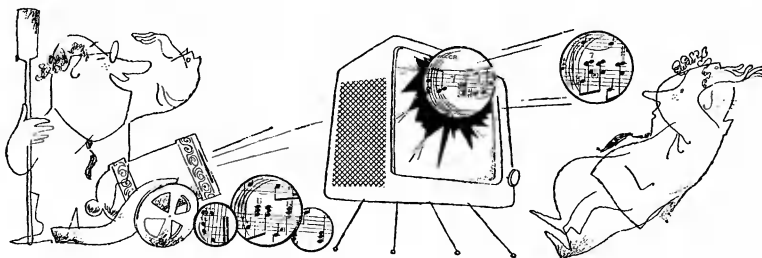
пропаганды песни, как радио, телевидение и кино, вызвало необычайное оживление этого жанра, и именно через эти каналы приходит популярность к тем или иным песням и, стало быть, их сочинителям.

Воспитание вкусов с детских лет, со школьной скамьи — вот один из важнейших аргументов в борьбе с посредственностью и серостью в песенном репертуаре. Надо, чтобы сами слушатели не принимали, отвергали плохие песни. Я понимаю, что есть в этом желании некоторое забегание вперед, но можем же, должны же мы потрошить будущее!

Прекрасной лекцией о музыке Дмитрия Борисовича Кабалевского! Вот если бы нашелся человек, который на таком же или близком к этому уровню вел бы регулярные передачи о песне, по радио или телевидению с конкретным показом и разборкой достоинств и недостатков песен! Какую огромную пользу могли бы принести такие передачи для воспитания вкусов массы слушателей, для верного понимания характера, идейно-эстетических качеств песен...

Процесс эстетического воспитания масс дилетел, художественное сознание народа, общества изменяется постепенно, и, кстати, песня является одним из важных средств эстетического воздействия на человека. Но даже люди, профессионально занимающиеся литературой, не всегда единодушны в оценке идейно-художественных достоинств песен. Процесс осознания прекрасного противоречив, помимо непосредственного отклика души, он требует от человека интеллектуальных усилий.

В «Литературной газете» поэт Николай Тарасов уверял читателей, что «история песенного творчества знает и великие песни, слова которых, отторгнутые



от музыки, выглядящая тускло, незначительно». Конкретного подтверждения этим словам автор не приводит, лишая своих оппонентов возможности обсуждать вопрос по существу, но мне это утверждение представляется весьма спорным. Все-таки слова, стихи — основа песни, признают все, в том числе и композиторы. Так что же это за великие произведения искусства, основа которых выглядит тускло, незначительно?!

Следуя своей логике, Тарасов считает, что текст песни — это «в лучшем случае плоскостное ее изображение», он решительно возражает против того, чтобы слова песни «испытать на отрыв от мелодии».

Вряд ли надо бесконечно повторять ту элементарную истину, что песня как жанр существует в музыкальном, мелодическом выражении. Верно и то, что не каждая песня может прозвучать как стихотворение (на этом особенно настаивают те, кто может сочинять только песни). Впрочем, каждая песня Михаила Исаковского — это стихотворение, да еще какое! Например, «Враги сожгли родную хату...». Боязнь испытания слов «на отрыв от мелодии» выдает слабость сочинитель текстов; нельзя обижать пустоту! Ее скрывает мелодия, сцena, экран, страда — весь антураж, который «делает» песню из ничего, из нескольких пустых, банальных строчек, повторяемых по два-три раза, и всевозможных «тару-ра» и «гуля-ля», заполняющих пространство смысла, подменяющих его.

Н. Тарасов не видит «абсолютной беды» в том, что «рифмованные строки спасены от мгновенного забвения» музыкой и исполнением, он думает в данном случае о судьбе стихотворца, поставщика песенных текстов. А как же быть с теми, кто слушает и даже поет эти «рифмованные строки»? Может быть, «мгновенное забвение» было бы для них благом?

И критик тоже приходит на защиту песенного ширпотреба. В. Сухаревич пишет эстетическое оправдание следующим строчкам из песни:

Сохнет накутсу на окошке
Вез тебя.
Почему-то грустно кошке
Вез тебя.

Кого ни воображал в роли исполнительницы этого куплета — «озорную» ли, «лукавую» девочку, как предлагает В. Сухаревич, или еще какой-нибудь изобретенный на этот случай персонаж, — эстетический эффект будет один: перед нами пародия на любовную песню, но не сама песня. И не надо представлять критиков подобных текстов людям, лишенным чувства юмора. Юмор тоже контролируется вкусом, в юморе не меньше (если не больше), чем в любой другой разновидности литературного творчества, опасности скатиться к пошлости, игнорируя эстетические критерии.

Особенности песенного жанра дают большие возможности повеселить слушателей. Скоморохи на Руси и пели, и приплясывали, и на разные лады потешали публику. Я хорошо помню, как много лет назад артисты Северного русского народного хора впервые в Москве, в Концертном зале имени Чайковского, исполнили северные скоморошники, как потом года через два повторили их исполнение и как с каждым разом все восторженнее принимался этот номер зрительным залом. Отсысала и записала эти скоморошники, кажется, где-то на Пинеге, неутомимая собирательница и пропандадистка народного песенного богатства Севера, создательница хора, ныне покойная Антонина Яковлевна Колотилова. Это был подлинный праздник народной песни!

Но в «современном» репертуаре моего любимого Северного хора (как, впрочем, и — в не меньшей степени! — в репертуаре хора имени Пятницкого, Воро-

нежского, Уральского и других хоров!) нередко звучат жалкие стилизации под народные песни, более рассчитанные на эстрадный успех, нежели развивающие традиции песенной культуры русского народа.

Я не хочу навязывать народную песню тем, кто ее не любит, и тем более подменять ею современные песни. Молодежь сейчас любит динамические ритмы — в музыке, в песнях. Я говорю о преобладающем вкусе. Но, право же, в огромном многообразии песенного богатства народа есть произведения на любой вкус! Все лучшее из этого великого наследия, если умно и высококвалифицированно его популяризировать, найдет своего слушателя, будет доставлять наслаждение, способствовать воспитанию эстетического вкуса. А сочинителям песен будет постоянно напоминать о том, как полезно приобщаться чистому источнику вдохновения и свежести.

Ссылки на многообразие жанров не оправдывают, не могут оправдать эстетическую беспомощность песенных текстов. Все жанры хороши, кроме скучного, это верно, слова Волтера мы любим повторять, когда надо опровергнуть догматизм и инерцию художественного мышления. Но ведь при этом имеют в виду жанры искусства, а не ремесла. Ремесло часто маскируется под жанровое разнообразие, «оправдывает» себя жанровым разнообразием.

Как преодолеть инерцию посредственности (а за нею проскальзывает откровенная халтура), которая буквально сметает все редакторские засылки на радио, телевидении, в кино и печати, что противопоставить ей, какие организационные, творческие, педагогические меры способны изменить положение дел на песенном фронте?

Песенный Ренессанс, который предсказывал кто-то из Участников дискуссии, не может наступить, если мы не решим первой и главной задачи — не прервем дорогу массовому распространению песенного стандарта. Впрочем, самым надежным средством противодействия агрессивному наступлению песенной посредственности может и должна стать талантливо написанная и талантливо исполненная песня, в которой мы услышали бы ритмы и дыхание современности, в которой раскрылась бы душа советского человека наших дней, его взгляд на мир, его нравственные, душевные качества. Песня, которая, естественно, вытеснит все подделки и имитации.

Наверное, это тоже забегание вперед? Но без этого невозможен никакой песенный Ренессанс, а его ждем не только мы, люди литературных и музыкальных профессий, но — и более всего! — общество, народ. Песня нужна всем.

А пока, как утверждает В. Соловьев-Седой, «на каждую хорошую песню появляется десяток ремесленных подделок. В этой гонке за лидером получается так, что на каждого Аполлона приходится уже не четверка, а десяток лошадей. Спрос порождает предложения, предложения стимулируют спрос, и пошла карусель...».

Остановите карусель!

Простите, не то... Давайте объединим усилия и остановим карусель, которая крутится по инерции. Я обращаюсь с этими словами не только к поэтам, композиторам и певцам, редакторам репертуарных сборников и музыкальных передач, но и к вам, молодые читатели, молодые люди с требовательным и строгим вкусом, к вам, любители песни.

Остановим карусель!



Иван КУПЦОВ

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ МУЗА

Когда три года назад я уходил с выставки Олега Вуколова, устроенной «Юности» и вызвавшей симпатии зрителей, мне было и радостно и тревожно.

От живописи Вуколова веяло душевной бодростью. Свежие, энергично положенные на холст краски излучали оптимизм. Серебристая стрекоза-вертолет зависала над корзинкой с дивными вальсками. В мастерской художника радужно встречали Новый год, и седобородый старик дружелюбно махал рукой с только что законченного полотна. А рядом возникал то натюрморт с русскими баранками, то улички живописного Нальчика, то любовно изображенное семейство близких друзей автора.

Радостно сознавалось, что в искусство приходит новый художник. Его тянуло к большим сопоставлениям, и он публицистически соединял уютную листовую девушку и космонавта в скафандре, окружая их небесной синью и стаей летящих ласточек. Он был искренен и непосредствен. Как-то удивительно органично соединялись в бесхитроном его рассказе впечатления кавказского детства, молодости, прошедшей на невиских набережных, поездок в Тарусу с ее заокскими даями, жизнь в громадной, бурливой Москве. Впрочем, всюду художника окружал столь любимый им простор, а главное, он оставался самим собой. Это ощущение творческой индивидуальности, вынесенное с выставки, будило мои раздумья критика.

С влюбленностью в вечернюю тишину художник пишет молодую мать и мальчика, доверчиво открывающих природе свои умиротворенные чувства. Закатные лучи солнца теплыми прикосновениями ласкают землю и невесомо отлетают в густящуюся прохладу. Художник живописует мир, достойный человеческого счастья, и счастье, обретающее себя среди этого доброго безмолвия, приволья, ощущаемого сердцем, взором, губами.

В полотнах Вуколова природа лжует и скорбит. Художник изображает мир трехмерным, ничем не стесняющим этот простор света и воздуха, цвета и как бы звучащих человеческих чувств. Надолго в

памяти остается то ощущение, которое так сильно и захватывающе пробуждают во мне картины «Вечер», «Возвращение», «У самовара», «Танкисты. Осенние маневры», «У старого маяка», «Прощание», «Праздник». Это — ощущение быстротечной человеческой жизни, в которой все значительно.

А вот что говорит об О. Вуколове художник П. Никитин: «На осенней выставке 1973 года мы остановились у его работы «Вечер». Картина была написана густыми цветом. Состояние чуть тревожное, настороженное, как это часто бывает в летние вечера, было передано очень сильно. Кто-то из нас заметил, что работа выпирала бы, если бы не было некоторой приближенности в пластике фигуры и особенно лиц. Художник согласился с легкостью, во всяком случае, это замечание ему не казалось существенным. Он стал с восторгом рассказывать, какой это был вечер и как он тут же с ходу написал этот холст... Для Олега Вуколова характерен именно этот подход к работе. Он пишет холсты быстро, с большим напором, доверяя своему тонкому чутью художника, и они, как правило, получают непосредственными и заражают зрителя своей эмоциональностью». Может быть, многое тут идет от характера О. Вуколова. Об этом хорошо сказал художник В. Полюхов: «Олег до сих пор как ребенок. Он все время спрашивает и задает вопросы, но в отличие от ребенка часто сам на них отвечает, но отвечает опять же в вопросительной форме. Он видит мир как будто бы через призму восторга, восхищения, гармонии и согласия, будь то девушка с виноградом, танкисты на учениях, портреты художников или писателей. При таком устройстве души должны соседствовать взлеты в его творчестве и промахи. Ему очень важно заниматься и жить тем кругом мыслей, образов и понятий, которые будут в ладу с его даром — тогда взлет, а в другом случае — промах, и начинать все сначала».

Родственность человеческих душ, светлое и бодрое мироощущение — вот содержание картины «Осенние маневры», которое раскрывается всей ее живописной пластикой, а не только сюжетом: молодые танкисты на запыленных машинах въехали на деревенскую улицу, их приветствуют колхозники, девушка угощает яблоками. Сознано, в моем пересказе сюжета нечто исчезает все чувственное очарование полотна, его подлинная, очень глубокая художественная идея. Это живопись гибкая, одновременно и динамичная, и мажорная, и созерцательная, склоняющаяся к эстетическому разуму.

Десятки альбомов Вуколова заполнены натурными рисунками, в которых еще и еще раз проштудирован каждый ракурс человека, работающего на тракторе, нянчащего ребенка, пожимающего руку товарищу, идущего по неизвестной улице. И в каждом штрихе выявлено душевное состояние изображенного.

«Юность» помогла Вуколову умножить свои способности рисовальщика, на ее страницах появились его первые иллюстрации к художественной литературе, проникнутые, как и все творчество художника, волнующим чувством современности.



КРУГ
ЧТЕНИЯ

Эпоха...
Вначале
была
Земля...



КАКИМ ОН БЫЛ...

Может ли оставить равнодушным повесть о воспоминаниях о Юрии Гагарине — первом космонавте, снискавшем мировую славу и всемирную любовь? Какой у него был характер, душевный строй, как он жил, что любил, каковы истоки его подвига — об этом написана книга Лидии Обуховой «Вначале была Земля...». Повесть-воспоминание о Юрии Гагарине («Современник», 1973). Автор живо передал естественность, чувство свободы, непринужденности, с которым Гагарин учился в школе, в ремесленном, в индустриальном техникуме, в авиационном училище, готовился и полету в космос и совершил свой бессмертный подвиг...

Л. Обухова по крупице собирала суждения о Юрии Гагарине окружающих его людей — родных, товарищей, преподавателей, одноклассников, начальников, инструкторов — всех, кто хоть как-то соприкасался с короткой жизнью. С поразительным единодушием все говорили, что он был компанейский, отзывчивый, душевно щедрый, веселый, ровный, упорный, исполнительный, прилежный... И вместе с тем «парень как все». «Был ли он особенным? Нет...», «он постоянно был на виду, но никогда не выделялся», «...юноша Гагарин, ничем не отличавшийся, кроме целеустремленности». И опять: «не выделялся чем-то особенным среди своих товарищей». Диву даешься: неужели «как все»? Разве всякому доступно так легко влиться в космос на корабле? Да еще первым? Не проглядели ли окружающие необыкновенное в обыкновенном?

Л. Обухова сама смущена этими отзывами, она пишет: «...не странна ли наша повседневная близорукость?» Все твердили, что с Гагариным никогда ничего не случилось. «А между тем именно с ним-то и случилось самое необыкновенное...»

Но читая фразу о том, что Гагарин «...легко и естественно включился в свое время в начавшуюся новую систему исторического отсчета», вдруг понимаешь, что именно в этом и состояла его главная особенность. Генерал Каманин записал в своем дневнике, что, наблюдая за Гагариным, «не заметил ни одного штришка в разговоре, в поведении, в движениях, который не

соответствовал бы обстановке». Тонкое наблюдение Каманина подтверждает, что у Юрия Алексеевича Гагарина был особый, не бросающийся в глаза в повседневности талант, ум, организаторские способности, с обстановкой, он слышал музыку времени, его отличали природное чутье и такт. Именно поэтому он был естествен, смел, его никогда не покидало самоблаженное, уверенность в успехе.

Интересную, содержательную книгу Лидии Обуховой обогащают размышления писателя о предназначении человека, о счастье, о памяти...

О. ГРУДЦОВА

ГОЛОСА

Позию Кирилла Ковальдини характеризуют добротность и интерес к жизни, строгость формы и конструктивность стиха. Она лишена стихийности, заметного темперамента, и это, возможно, делает его менее выразительной. Но его новая книга стихов «Голоса» («Молодая гвардия», 1973), вдруг тронула метик Кирилла Ковальдини, хотя я давно знаю стихи Кирилла Ковальдини и уже привыкла к сдержанной поэтике. Лирика проникновенная и человечная! Снова ощущаешь живую душу поэта, его первую обязательную юношескую интонацию и видишь, что поэт сумел сохранить в себе самое главное.

В книге есть прекрасные стихи «Белая ночь без тебя», «родившаяся», кажется, из самых глубин души:

И вот сбылось. Брожу
я белой ночью
и повторяю
здравствуй. Летний сад
своей давний сон
увидел я вочью,
перебирая строй
твоих оград.

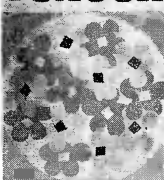
Но эта ночь случилась
к другим годам ее я
приручил.
Всему тому, что я себе
двадцать лет назад.
Но я опять один.

Вот потому
как посторонний
прохожу я мимо:
все, что люблю, отодвину
люблю с любовью,
все, что люблю, мне
в тягостю одному.

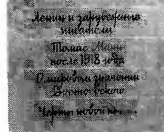
Брожу по Ленинграду
наудачу,
своей черной час
от белой ночи прячу.

Такая, казалось бы,
жесткая «конструкция»,
откуда же эта щемящая
грусть и нежность? Это

КИРИЛЛ КОВАЛЬДИНИ
ГОЛОСА



ЛЮБОВЬ АБА
**ДОСТОЯНИЕ
СОВРЕМЕННОСТИ
РЕАЛИЗМ**



уже новые черты в творчестве Кирилла Новалды. И они углубились в таких стихах, как «Баллада о любви», «Человек убывает...», «Мне чудится, что под землей...».

Книга Кирилла Новалды хорошо принята читателями. Она быстро она исчезла у нас с книжных прилавков Кирилла Новалды. Это не мудрено: здесь поэт хорошо знает, где он начинал. Но и всеосознанный читатель теперь имеет возможность познакомиться с лирикой Кирилла Новалды, в которой есть много верных наблюдений и света.

А. КОРКИНА

САМО СОБОЙ НИЧЕГО НЕ УСТРОИТСЯ

Константин Щербак — один из критиков, чья деятельность и публицистика, не фигурально, но буквально каждый день вот уже немало лет отдающего себя рабочей повседневности нашего театра и кинематографа, сама по себе вызывает уважение. Читая его книгу «Обретенное мушкетера» (Издательство БТО, 1973), все время ощущаешь «за кадром» полное знание автором своего остального. Он все видел, ничего не пропустил. Не отобрал определенные спелки и фильмы.

По какому же принципу? Не претендуя на законченность формулы, можно сказать так: по хронологии умственного и нравственного развития своего поколения. Но это поколение его — актеры, драматурги, режиссеры, не говоря уже о поколении в более широком историческом и общенародном смысле, вступило в сознательную жизнь в эпоху сложную, переломную...

Во все времена были критики, просто отказывавшие молодому поколению в самом праве быть критическим по отношению к действительности. Были они и в то время, когда появились первые статьи автора. Щербак изначально приглядывает к такой позиции, и в этом смысле его книга — симпатизающий документ времени. Но сторонник интеллектуальной самостоятельности молодого героя, и именно поэтому он обнаружил в нем нечто такое, что не устроило его с самого начала и с чем борется он на протяжении всей книги. Это «нечто» — грандиозный снобизм, когда красноречив

ем подменяется реальное дело.

В книге и есть исследование типических общественных черт характеров нынешних молодых людей, но здесь на нравственную стойкость, гражданскую значимость и, наконец, на обычную трудолюбивость, если можно так сказать.

Потребность в общественной правде — для него несомненное достоинство героя, а пресловутая формула «добро должно быть с кулаками» ему попросту чужда. Но книга его — публицистическая проповедь и о не критичности, о необходимости соединения его с живым общественным делом, важным непрерывным духовного самосовершенствования, ибо «само собой ничего не устроится».

Очень скоро после начала книги, естественно расширяя сферу своего исследования, К. Щербак обращается к опыту героев и авторов старшего поколения. Это ему необходимо, чтобы проследить происхождение различных, в том числе трудно различаемых черт характера своего современника. Как зарождаются и развиваются эти черты? Почему возникает и отступничество, самостоятельность и приспособленчество, как, какими способами культивируется в себе личность и как личность в себе убывает и уступает место безличности?

Заканчивается книга чистой патетической нотой, рассказом о продолжении работы «Современника» — «Вечно живые» и спектакле-реквием Театра на Таганке. Автор здесь не тихее... Однако книга движется не только развитием ее главной мысли, но и усилением эстетического анализа и совершенствованием критического плана автора. Составленная из статей, печатавшихся на протяжении десятилетий в периодической печати, она отмечена внутренней логикой и последовательным развитием общей идеи. Это ее достоинство проскакивает, очевидно, оттого, что, работая все это время в бурном и противоречивом газетном ритме, автор сохраняет верность самому себе.

А. СВОБОДИН

НА СТОРОНЕ КУЛЬТУРЫ

Ряды собрания известного литературоведа — левой «Достояние современного реализма», «Советский писатель»,

1973) берешь, как вершины в походе: «Ленин и культура», «Литература», «Томас Манн после 1918 года», «О мировом значении Достоевского», «Черты новой культуры».

У автора размеренный шаг. Какой же, однако, накал страстей таится за именами и проблемами, о которых идет речь в спонорной книге! В ней мы встречаем «старых» и «новых» идейный скандал века. Т. Мотылева всегда на стороне культуры, ее воинов и строителей. Место автора именно здесь: ни разу на протяжении последних десятилетий Т. Мотылева не позволила себе передохнуть, сменяя передовую на тыл критической мысли. Не сбавляя шаг, устало отставая от века.

Во всеоружии знания мирового искусства, набирающего скорость вместе с эпохой, Т. Мотылева верна этому, обязывающей поднимать целину архивов. Быть первопроходцем, а не тащить замасленную колоду цитат. Расширивать в черновике Ленина имена, которых не найдешь в комментариях Полного собрания сочинений. Поворачивать не ожидаемой стороной привычные темы, выискивая, к примеру, каким образом «чтение Толстого» подготовило Роллана к восприятию жизненного дела Ленина и каким образом Ленин помог Роллану по-новому осмыслить Толстого.

Автор, как теперь говорят, «на уровне». Читатель «Юности» может не верить ни слову, ни поздней, вместе с личным опытом, получит доказательства: «очень это непростое, держаться «на уровне», зачастую гораздо сложнее, чем быть ватерли прогресса». Так вот, именно потому, что автор — за культуру, за классическое и современно прочитанное наследие, за постоянно обновляющийся реализм, новаторство, он не то что «достоинство», полезное и зрелому и юному читателю.

М. КИРИЛЛОВ

СПАСАТЕЛЬНЫЙ

КРУГ

Красиво изданный этот плод коллективного вдохновения и совместных творческих мук членов «Клуба 12 стульев» из «Литературной газеты» («12 стульев», Изд-во «Искусство», 1973) разошелся быстро, несмотря на внушительный тираж — сто тысяч экземпляров. Юмор — это спасательный круг на волнах жизни». Так образно выразился однажды великий немецкий писатель, сын судьбоного чиновника Вильгельм Раабе, хочешь на всякий случай иметь при себе спасательный круг? Ведь жизнь — это бурный поток, как убит нас наш современник, «известный людоед и душелюб» Евг. Сазонова. Кстати сказать, эта мысль настолько сквозит во всем его «Бесценных творческих произведениях», публикуемых «Литгазетой».

Все двести с лишком страниц, отделяющие выказывания Вильгельма Раабе от афоризма Евг. Сазонова, посвященные одной благодарной публике, расмешают публику, бросить ей тот пресловутый спасательный круг, о котором напряженно сказал немецкий писатель и который подразумевал наш душелюб и людоед. Откровенно говоря, авторы издания добились своего сполна. Особенно отличился при этом «Бумеранг», из всех сил ударивший по рядовым графоманам, да еще Александр Иванов, когде показавший в своих пародиях «настоящее лицо» некоторых членов Союза писателей.

В общем, посмеяться есть над чем. И можно сказать с уверенностью, что безумный остроумец Гр. Горина, Арк. Арканова, Василия Аксенова, Валерия Кучука с его славной «Мозговой точкой» и многих других, включая сюда и таинственных, как, например, Зошенко и Лар. Аверченко из «Лавки букиниста», и, наконец, жизнестроительство Евг. Сазонова помогут читателю удержаться на поверхности жизни, не утонув в безвозвратное исчезновение в ее бурном потоке.

Александр
МИХАИЛОВ

Я подружился с Алимом Кешоковым тридцать лет тому назад, на фронте. В ту пору он был армейским журналистом, а до этого служил в кавалерийской части. И во всем его облике было что-то крылатое, грациозное. Мне всегда он представлялся всадником на горной тропе с облаком над левым плечом. Его друг по газете, известный критик В. Гоффеншерфер позже вспоминал, что по праздникам Алим Кешоков вместо «общевойсковой» гимнастерки надевал черкеску с шестнадцатью газырями на груди. Однажды он, ринувшись в стремительную пляску, вырвал из кобуры пистолет и во славу молодой удали и поэтического пыла всадил пулю в потолок, хотя по тем временам это было нарушением воинского устава. Алим Кешоков был блестятельным офицером, и это было единственным случаем нарушения дисциплины. Его стихи обратили на себя внимание еще до войны, а слава поэта пришла к нему позже. Из-под его пера вышли десятки книг стихов, несколько романов и пьес. В начале нынешнего года в издательстве «Художественная литература» появился двухтомник его избранных произведений.

Первое стихотворение в нем датировано 1935 годом, а стихи из книги «Тавро» — 1968 годом. Вот какой большой период творчества вмещают эти две книги! В стихах Алима Кешокова, о чем бы он ни писал, всегда прослеживается духовная связь со временем, преемственность человеческих ценностей. Они могут трансформироваться, уходить в глубь столетий, но приобщают нас к самому дорожному, значительному, возвышенному. Вот две строфы из стихотворения «Лермонтову»:

Прошу тебя:

— Побудь еще немножко! —
Но снова, бурни черное крыло
Ты весело откинув у порога,

Садись в кабардинское
седло.

И скачешь по горам
не иноверцем,
И, как мюриды, издавна
верны,



Яков
КОЗЛОВСКИЙ

ПОЭТ СО СВОЕЮ ПОСАДКОЙ В СЕДЛЕ



Теперь я слева прикрываю
сердцем,
Кайсын Кулиев с правой
стороны.

Я вырвал из стихотворения две строфы, но даже по ним вы ощущаете, как благороден смысл стихотворения, как напоено оно горским духом. Когда-то Есенин, обращаясь к Кавказу, просил его: «Ты научи мой русский стих кизилловым струиться соком». Пламень истинной поэзии Кавказа не погас с тех лет, напротив, он разгорелся еще ярче. И одним из хранителей и творцов его является Алим Кешоков. Традиционные темы, к которым он обращается: война, доблесть, любовь, совестливость, верность, — но в том-то и заслуга поэта, что эти темы в его творчестве обретают оригинальность, открытия, несхожесть черт, самобытность мысли и образа, лада и яркости. Кому принадлежит конь, можно узнать по тавру, кому принадлежит стих, — по его художественной выразительности. Вот опять я безбожно вырываю из стихотворения «Кинжал» строфу, чтобы подтвердить справедливость сказанного:

Два лезвия кинжала одного,
Они спиной обращены
друг к другу
И меж собою делят оттого
Один позор или одну заслугу...

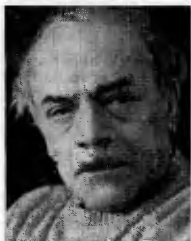
В стихах Алима Кешокова всегда ощущается какая-то надежность, они словно дом, способный выдержать любой обвал. В этом доме нельзя жить бездумно, беспечно, но можно быть счастливым. Алим Кешоков может всадить пулю в потолок, но не способен стрелять в воздух словами. Горская муза подает ему стрелы.

Для вечности год
не длиннее мгновенья,
Высокие звезды склонились
к земле.

Я знаю:
имеет лишь дату рождения
Поэт со своею посадкой
в седле...

Таким поэтом видится мне и
Алим Кешоков.

Давид Самойлов



Купальщица

Когда бежит через лиловый полдень
Купальщица, ее волнистый бег
Невольным обещанием исполнен
Беспечных радостей и сладких нег.
И вот уже она вступает в волны,
Вот исчезает вдалеке. Она
Почти, как речь поэзии, условна
И, как язык печали, солона.

Рассвет

Светало. Воздух был глубок.
Вблизи долина, словно заводь.
А там, где должен быть восток,
Два облака учились плавать.
И постепенно, без болей,
Ночь умирала за домами —
Посередине тополей,
Потом вверху, потом над нами.



Вот в багровой листве и лазури
Перед нами возник Сигнах,
Словно витязь в тигровой шкуре,
Чуть приветавший на стремених.

А внизу, в Алазанской долине,
До чреды дагестанских вершин
Мне звучал в багрянце и сини
Грибоедовский клавесин.



Березы, осины да елки —
Простой подмосковный пейзаж.
Художник в татарской мурмолке
Весенний открыл вернисаж.

Художник, немного раскосый,
С татарской раскладкою скул,
Дымит и дымит папиросой
И слушает внутренний гул.

Из гула рождаются краски,
Из звука является цвет.
Природа плетет без развязки
Один бесконечный сюжет.

Но надо включить его в раму,
И это искусства залог,
Когда бесконечную драму
Врубают в один эпизод.



Там дуб в богатырские трубы
Играет на сильном холме.
Но светлые, тихие струны
Звучат на душе и в уме.

И слиться с землею и небом
Мечтает беспечный артист,
С закатом, где тополь над берегом
Так легок, летуч и ветвист.

Какое прекрасное свойство —
Уметь отрешиться от зла,
Бродить, постигая устройство
Пространства, души, ремесла.

Слияния легкая тризна!
Дубы замолкают тогда.
И грозные трубы отчизна
Сменяет на флейту дрозда.

Солдат и Марта

Из стихов «О веке Петровом»

Первую брачную ночь Марта
и драгун Разб провели
в доме пастора Глюка.

(«Из Размсканий об императрице
Екатерине Первой», т. 1, стр. 86).

ОН: Любимая, не говори,
Что надо нам прощаться!
Пускай до утренней зари
Продлится наше счастье!..

ОНА: Драгун! Драгун! Ведь завтра бой,
Нам суждены печали.
Не на разлуку ль нас с тобой
Сегодня обвенчали!..

ОН: Любимая! Не говори!
Нам суждено прощаться.
Но пусть до утренней зари
Продлится это счастье!..

.....

И грянул бой... Свиных пчел
Раздался гул. Чугунный
Гром ядер... Рядом с трубачом
Упал вояка юный.

Спасли солдата лекаря,
И он узнал от друга,

Что слух идет: мол, у царя
Живет его супруга.

Там купола, как янтари,
Над старою Москвою...

.....

ОН: Любимая! Не говори!

Вот я перед тобою...

ОНА: Зачем здесь этот инвалид,

Игрушка чьих-то козней!!

Беги! Не то тебя велит

Убить супруг мой грозный!

ОН: Любимая, не говори!

Как разошлись дороги!..

Спокойно властвуя и цари!..

И он упал ей в ноги.

ОНА: Деньгу солдату! Пусть он пьет!

Не знает сам, что мелет!

Гляди, когда великий Петр

Словам твоим поверит!..

ОН: Любимая! Не говори!

Уже настало утро!

И поскорей умри, умри

Та ночь Мариенбурга!

ОНА: Да, поскорей умри та ночи!

Умри то утро боя!

Солдат, ступай отсюда прочь —

Я не была с тобою.

Ступай, ступай, хромой драгун,

И обо мне — ни звука!

Забудь про то, что был ты юн,

Про свадьбу в доме Глюка.

И пей хоть день, хоть два, хоть три —

Хоть до скончания света!..

ОН: Любимая! Не говори!

Не говори про это!..

Алексей Бадаев



Перевел
с бурятского
Ю. РЯШЕНЦЕВ

✱

Когда опустеют поля, и повянут листья,
и серая слякоть из хмурой польте высоты,
и к югу помчится живая стрела журавлей,
мне вроде должно быть грустнее,
а мне веселей!

Когда же очнется багульник, как пламя
горя,
раздастся оленья труба и призыв глухаря,
и вдруг соловей онемее, устав от труда,
тогда ли не петь!
Отчего же мне грустно тогда!

✱

Дело наездника — выбрать себе скакуна,
пусть незаметного, но из всего табуна!
Весь ведь успех среди скачек, ристалищ,
погонь
определят лишь они: только всадник и конь.

Свойство любви — сторониться чужого ума.
Ищет дорогу свою и находит сама.
Сколько ей длиться, любви, и насколько
верна —
лишь молодые решают: лишь он да она.

Бурятское седло

Нет, не спина хулуга легендарного,
но и не затхлый дух угла амбарного —
удел твой, старое бурятское седло.
Тебе почет немалый оказали,
и ты помещено в музейном зале,
где оживленно, людно и светло.

Не всяк предмет заслуживал такое.
И плохо ль на почетном на покое
быть экспонатом нашей старины!
Но для того, чья жизнь — один дороги,
покой куда страшнее, чем тревоги,
и дни без скачки — смутны и грустны.

Седлу какой в безделье интерес-то!
Спина коня — единственное место,
достойное, по мнению, седла.
Лишь там седло седлом и остается,
будь то спина лихого иноходца
или старой клячи — только бы везла,

везла бы только всадника степного:
хоть старца,
хоть мальчонку озорного...
Ну что ж...

Седло тоскует неспроста.
Ведь слух о нем гремел на всю округу,
и говорили все взахлеб друг другу:
— Ведь экая работа! Красота!..

Какой прекрасный мастер безмятный
рукой, и вдохновенною и рыной,
серебряный узор тот сотворил,
в котором рог изюбря непокорный
сплелся с извивом светлой реки горной,
а с битием сплелся волшебный пыл...

Да, доживает век свой, вспоминая,
как хороша при ветре ширь степная,
старинное бурятское седло.

Там пахнут сарана и ая-ганга,
и, словно в барабаны, спозаранку
копыта бьют легко и тяжело!

Где эти кони — серые, гнедые,
огнем и вихрем будто налитые,
бурятские, степные искини!
Их гривами, как тучами, объят
все небеса, хвосты их — водопады!
Где эти кони! Где теперь они!

Владимир Павлинов



Маяк

Алеют тучи на бегу,
Смерч на бегу уснул.
Маяк на правом берегу
Погас — и вновь мигнул.
В огне желтеют тростники,
И гладь реки в дыму.
Налево — Черные пески,
Направо — Красные пески,
А посреди — Аму.

Встает луна, густеет мрак,
Уже десятый час.
На правом берегу маяк
Мигнул — и вновь погас.
Он, как живое существо,
Со мною говорит:
— Спешись! Куда и для чего!
Придешь, а в доме — никого,
И лишь огонь горит.

Я оторваться не могу
От огонька в окне.
Маяк на правом берегу
Подмигивает мне.
Искал любви и славы я,
Кружилась голова,
И вот я здесь, Амударья!
Все — в прошлом: легкие друзья
И легкие слова.

Я за веселые грехи
Готов держать ответ:
Нагородил я чепухи
За двадцать с лишним лет!

А ветра свежая струя
Щекочет нос дымаком...
Да, может, дружная семья —
Бригада первая моя —
Вон там, за маяком!

Луна по облаку плывет,
Плывет по камышу.
Маяк зовет меня, зовет,
И я спешу, спешу.
Что сети хитрые плести
И лавры пожинать,
Когда вот счастье: быть в пути
И на далекий свет идти,
А что там ждет — не знать!

Дух войны

Ленивой злобою томимы,
В холодных северных морях
Старинные морские мины
Стоят на ржавых якорях.

Вода и соль течений сонных
Покрыли слизью их бока.
Они на тросах напряженных
Покачиваются слегка.

В ленивых и глухих глубинах,
Где мрак и зло растворены,
Как злобный джин, таится в минах
Горбатый, мрачный дух войны.

Порою эхо дальних бурь
Металл миррепа разрывает —
И ржавый шар, лилово-бур.
Из мрака медленно всплывает.

И бродит по волнам, пока
Беспечный пароход не встретит
И тонкие его бока
Печатью смерти не отметит.

И грохот взрыва — крик беды,
Раскатистый и гулкий грохот,
Разносится, как чертов хохот,
Среди разверзшейся воды.

Проводы капитана

Рыхлый дым на песок оседает,
Белый дым над зеленой рекой.
Капитан свой корабль покидает:
— А теперь мне пора на покой!

— Счастья вам и хорошей погоды!..
Друг о дружку стучат катера.
Тридцать лет он водил теплоходы,
А теперь и на поезд пора.

Белый дым оседает на плесь,
И виски капитана в дыму.
Мотористы, механик, матросы
С верхней палубы машут ему.

А навстречу бегут теплоходы,
В небе чайки кричат, как всегда.
А кругом — те же самые воды,
Только годы бегут, как вода...

На откосах — туман.
И на плесах — туман.
В добрый путь, капитан!
В добрый час, капитан!

Под вашей рубрики «Я + Я = семья» много написано о том, что происходит в семейной жизни, когда люди уже поженились. Мне почему-то кажется, что истоки счастливого или несчастливого брака надо искать где-то раньше. Я сама замужем уже пять лет. Удачен мой брак или нет — сказать определенно не могу. Наверное, если бы начинать все сначала, но только с моим теперешним опытом и пониманием, я бы сделала все иначе...

Магадан.

Ирина К.

Дорогая «Юность»!

Я читаю твои статьи о браке и семье, вижу и вокруг себя много разных семей, и думаю вот о чем. Мне только 17. Говорят, я недурна собой, во всяком случае мальчикам нравлюсь — это точно. Но ведь мне надо думать о серьезном: о замужестве, о том, чтобы построить крепкую семью. И тут мне начинает казаться, что я многого просто не знаю. Как, например, угадать, какой из моих знакомых будет хорошим мужем, а какой — плохим? Сейчас мне нравятся веселые, остроумные и спортивные. Но нужно ли это все для семейной жизни? Мне хотелось бы узнать о браке все с самого начала.

Минск.

Наташа В.

Дорогие товарищи!

Нам кажется, что разговор о семье надо было бы начинать с того, какие парни нравятся девочкам, а какие девочки — парням. А то говорят: будь серьезным, и тебя все будут любить. А посмотрись — разве серьезных так уж любят?

Лиепая.

Игорь В., Вадим А.

ОЖИДАНИЕ

Итак, продолжая разговор о молодой семье, попробуем начать все с самого начала. Впрочем, что считать началом? Первый год совместной жизни? Или первый месяц? Или свадьбу? Или еще раньше — первые встречи, свидания, наконец, просто знакомство?

А давайте-ка вспомним, что было до всего этого — до свадьбы, и свиданий, и знакомств.

Вы выходите из дома ранним солнечным утром, вдыхаете легкий воздух, и вас охватывает великолепное ощущение: ожидания, надежда, уверенность — все будет, как надо. А как надо? И вы начинаете мечтать. Ведь почти любой встрече, которая потом поведет к браку, предшествует мысль о ней — размышление, мечта, игра воображения.

На чем основана эта «игра»? Вокруг чего развивается воображение? К чему мы стремимся приблизить реальную жизнь? К идеалу.

Но что это, собственно, такое — идеал? Попробуем разобраться. Мы лепим в воображении некий образ. Сложный комплекс черт, свойственных этому созданному фантазией образу, складывается из всего того, что нас окружало с детства, а потом в отрочестве, юности. Книжки, фильмы, спектакли, картины. Родители, учителя, соседи, друзья. Случайные впечатления, услышанный разговор. Все это незаметно для нас формирует и наши потребности. А из этого в конечном счете и складывается идеал, — естественно, разный у разных людей. Часто, правда, оказывается, что люди встречаются, влюбляются, женятся, живут счастливо и всю жизнь посмеиваются: «Да ведь ты была совершенно не моим идеалом, я мечтал о голубоглазой блондинке, а вовсе не о жгучей брюнетке!» «Знаешь, мне тоже рисовался в мечтах высокий, широкоплечий... А полюбила вот тебя. Между прочим, ты знаешь, почему я перестала носить высокие каблуки?...»

Не совпали идеалы? Ничего подобного. Различиями оказались только внешние черты: блондинка — брюнетка, высокий — невысокий. Но если им хорошо вдвоем, если, как принято говорить, они нашли друг друга, значит, чаще всего совпали и образ, нарисованный мечтой, и живой человек. Просто есть представления, которые не так легко сформулировать словами и даже мысленно, они где-то глубоко внутри нашего сознания. Но когда мы встречаем человека и чувствуем — скорее интуицией, чем разумом, — вот ОН или ОНА, стало быть, не отдавая себе отчета, встретили свой идеал.

Один мой знакомый долго отбивался от вопросов своей молодой жены: «Ну почему, почему из



Я + Я = СЕМЬЯ

всех красивых, умных, эффектных девушек ты выбрал именно меня? Челсаяк он был серьезный, слов неточных или не совсем верных употребил не любил. Так что, атакующий вопросами жены, отмалчивался, только улыбался, не торопясь с ответом. А однажды все-таки сказал: «Я просто почувствовал печенкой, что ты — ты». И это был самый точный, самый верный из всех возможных ответов. Почувствовал — ну не печенкой, конечно, а просто интуитивно, — что вот эта девушка с ее складом мыслей, с ее восприятием мира, с направленностью ее чувств — истинно близкий ему человек.

Разумеется, далеко не во всех браках идеал совпадает с действительностью. Ленинградские социологи задали замужним женщинам вопрос: «Соответствовал ли ваш жених представлениям о будущем избрании, которые сложились у вас до знакомства с ним?» Ответы распределялись так (в %):

соответствовал — 74,
не совсем — 6,
не соответствовал — 20.

Ну, а что же собой представляют идеалы наших девушек и юношей? О чем они мечтают? Или спросим иначе: по каким критериям оценивают достоинства друг друга? Для сравнения возьмем две анкеты. Первая была предложена в Одессе молодым рабочим. На вопрос девушкам: «Какие качества вы больше всего цените в юношах?» — они ответили: «трудолюбие и увлеченность своим делом», «целестремленность», «уважение к людям», «образованность», «воспитанность».

Другую анкету заполняли ленинградки, большей частью служащие и учащиеся. Они сформулировали свои представления об идеальном муже так: «сила и мужественность», «ум», «любовь к работе», «веселый характер», «серьезность», «хорошее отношение к нему других людей».

Разные города, разные слои населения, но как много общего в представлениях о том, что социологи называют «системой ценностей»? На одно из первых мест девушки ставят «трудолюбие», «увлеченность своим делом», «любовь к работе». В этом видится важная примета времени: человек прежде всего оценивается по делам своим, по тому, сколько полезен обществу. Немаловажно для девушек и то, как складываются отношения их избранников с обществом. Недаром же они высоко ценят такие свойства, как «уважение к людям», «общественный почет», «хорошее отношение к нему других людей». То, что девушки придают значение чертам, казалось бы, не связанным прямо с любовью и браком, объясняется в значительной степени тем, что они ведь и сами учатся или работают. Они знают, что в любом коллективе уважают добросовестное и увлеченное отношение к труду. Знают, что авторитет человека складывается не только из того, как он работает, но и как относится к людям. А ведь для любой девушки безразлично, что говорят о ее любимом, пользуется ли он уважением окружающих.

Чрезвычайно высоко ценят девушки «серьезность» или близкую к ней «целестремленность». Ну и, естественно, каждой хочется, чтобы ее будущий спутник был умен, мустествен, образован, воспитан и обладал при этом веселым нравом.

Ну, а о чем мечтают юноши? Какие достоинства ценят они в своих подругах? В одесской анкете эти черты названы в такой последовательности: «скромность», «гордость», «ненавязчивость», «доброта», «внешняя привлекательность», «любовь к искусству и литературе».

Однажды, выступая на молодежном диспуте в Капуге, я получила несколько записок с вопросами вроде: «Скажите, какие девушки больше всего нравятся?» И тут мне пришла в голову неожиданная мысль. «А что вы сами об этом думаете?» — обратилась я в зал. Затем зачитала список девичьих достоинств, составленный юношами, — но не в том порядке, как это было у них, а в произвольном. Установить же очередность предложила девушкам. Когда ответы были собраны и подсчитаны, я поразилась разнице в представлениях.

На первое место девушки единодушно поставили «внешнюю привлекательность». На второе — «любовь к искусству», на последнее — «скромность», с точки зрения юношей главное достоинство.

Я, помнится, тогда серьезно задумалась: действительно, об устремлениях, склонностях, вкусах молодежи плохо осведомлены даже те, кто обязан быть в курсе дела, — психологи, социологи, педагоги, родители. И совсем уж мало знают друг о друге сами молодые люди. Между тем глубокое знание нравственных, этических, эстетических потребностей нового поколения помогло бы взрослым влиять на эти потребности, формировать вкусы. А юношам и девушкам подобные сведения дали бы еще больше.

Социологи (в частности, профессор И. С. Кок) утверждают, что личность человека формируется в значительной степени соответственно тому, что от нее ожидают окружающие. И если бы, к примеру, девушки знали, что молодые люди высоко ценят их гордость, ненавязчивость, но вместе с тем и доброту, то это, наверно, сказалось бы на их самовоспитании, они бы, очевидно, и стремились в первую очередь развивать в себе именно эти качества. То же самое и юноши. Если бы они знали, что подруги больше всего уважают их вовсе не за экстравагантные брюки с бахромой, не за длинные волосы и даже не за умение играть на гитаре. Зная они, что за легкими шутками и веселым девичьим смехом прячется глубокий напряженный интерес к их личности, отношению к труду, к обществу, к своему месту в жизни; зная юноши, на что могут, оказывается, склоняться «сердца красивцы», — их духовный облик, пожалуй, формировался бы тоже несколько иначе.

Тут молодые читатели могут мне, конечно, возразить. Мол, что вы говорите о каких-то духовных и душевных ценностях. Придите вечером на танцы, посмотрите, кого приглашают чаще всего. Не «кинжигу» Соню, не добрую толстуху Тому и уж, конечно, не скромницу Аню. Отбюю от кавалеров нет у Марины — смазливая мордашка да стройная фигурка. Ни души, ни ума. Что ж, не спорю: успех на танцах объясняется чаще всего внешними признаками. И не только на танцах, скажете вы. Вот у нас во дворе — тоже девчонка без царя в голове, но красота, так каждый парень старается ей понравиться. Это так верно. Хотя и не до конца. А если ваша красота Марина и в самом деле глупа и холодна, так не завидуйте ей: долго нравиться она никому не будет. А юноша, у которого уже сложились представления об идеале, человек достойный, серьезный, тот и вовсе не обратит на нее внимания.

Бывает, однако, и по-другому. Девушка красива, отнюдь не глупа, умеет держаться с достоинством, не позволяет ни вульгарности, ни фамильярничанья, умеет поддерживать беседу, но, если надо, и осадит неумного или развязного собеседника. Со стороны кажется: красота, и только, — а поговорит-ка с теми, у кого от нее голова кружится, они вам наверх скажут и об этих привлекательных свойствах ее натуры.

А вот еще третий, наиболее распространенный вариант. Замечали вы, что в состоявшихся молодежных коллективах наибольшим успехом пользуется, как правило, вовсе не самая красивая девушка, но самый эффектный внешне юноша, а ... как бы это сказать... Часто тут не могут даже придумать чего-то определения. Говорят: «в нем что-то есть», «как-то так и тянет» или еще что-нибудь в том же духе. А это «что-то» имеет между тем вполне точное определение: обаяние.

Из чего же складывается обаяние человека? На вопрос этот ответить непросто. Один, допустим, приветлив и улыбочив. Другой мрачноват, но остроумен. Третий друбно чутко. Четвертый безукоризненно воспитан. Пятый добр, сердечен. Шестой привлекает живостью, общительностью. Все они по-своему обаятельны. С каждым общение желательно и приятно.

Интересные данные о том, какие качества чаще всего привлекают в человеке, приводит кандидат психологических наук Я. Коломинский в своей книге «Человек среди людей».

В главе, которая так и называется «Тайны обаяния», автор пытается проанализировать, по каким причинам люди становятся «звездами» — официальный психологический термин, которым называют человека, пользующегося наибольшей симпатией окружающих. Правда, в книжке речь идет лишь о результатах тех экспериментов, что проводились в детском саду, в младших, средних и старших классах школы. Но ведь и эти данные интересны: в них, по сути, истоки формирования идеала.

«Звезды» детского сада — это ребята, которые прежде всего проявляют себя с наибольшим блеском в творческих играх. Они лучше всего организуют, придумывают увлекательные повороты, сюжеты, сюжет берут на себя самые сложные роли. Это естественно: игра в раннем возрасте имеет большое значение для асестороннего развития человека. И по тому, как ребенок играет, педагоги и психологи судят о свойствах его натуры — уме, воле, способности к творческой фантазии. Итак, «звезды» — это наиболее развитые члены детского коллектива. Они, как правило, к тому же аккуратны, общительны, дружелюбны, чаще всего обладают симпатичной внешностью.

В школьном возрасте система ценностей несколько изменяется. В начальных классах для ребят крайне существенны успехи в учебе, готовность делиться с друзьями собственными вещами, общественная активность, самостоятельность, уверенность в себе, честность. Важную роль и тут играет хорошая внешность.

Шестиклассники продолжают уважать в своих «звездах» серьезное отношение к учебе, но уже выделяют у них и другие качества: преданность в дружбе, умение хранить тайны, не прощаят же им грубости, дурного характера.

И, наконец, критерий «звезды» старшеклассников (15—17 лет) — сверстники, у которых хорошо развиты организаторские качества, общественные активности, ребята сильные, спортивные, люди, обладающие интеллектуальными достоинствами. Опять-таки важную роль играет и внешность. Но самым главным становится то, что потом, у взрослых, выйдет на первый план: свойства человеческой личности, индивидуальности. И чем отчетливее выражена вот эта неповторимость черт, чем более гармонично индивидуальные свойства сочетаются в одном человеке, тем ярче личность. В понятие Личности с большой буквы входит прежде всего система

убеждений, зрелость и определенность взглядов — то, что еще иначе называют мировоззрением.

Впрочем, здесь мы уже вторгаемся в другую область понятий. Нас же интересует сейчас юношеские идеалы — то есть то, что привлекает друг к другу будущих женихов и невест, мужей и жен. Интересно, из чего складывается обаяние, то есть какие свойства делают человека приятным, что заставляет нас стремиться к его обществу. Именно этот вопрос я задала Я. Л. Коломинскому.

— Обаяние? — переспросил психолог. — На этот счет существует много различных суждений. В США, например, часто выходят популярные брошюры с лихими названиями, вроде «Как быть обаятельным?». Написаны они с расчетом на примитивного, падакого на дешевую сенсацию, нетребовательного читателя. Там, в частности, можно найти рекомендации: хотите понравиться человеку, говорите с ним только о том, что его сейчас волнует. Если прийти на шее ему важнее землетрясения в Африке, говорит о прыжке. Мне кажется, что такие советы рассчитаны просто на эгоистов и глупов. Это обыкновенный обмен: вы изображаете перед собеседником интерес, которого нет, он принимает ваш интерес за искреннее участие, которого тоже нет. Истинным же обаянием обладает тот, кого можно назвать интересным человеком. А что это значит — быть интересным человеком? Для этого необходимо обладать интеллектуальной и эмоционально-эстетической информативностью.

Иными словами, человек должен многое знать — литературу, искусство, науки, политику. Он должен уметь пропускать эти знания через себя, через свое восприятие мира, то есть уметь вырабатывать собственное отношение к объективной информации. Интересный человек — это и тот, кто умеет разбираться в душевных состояниях других людей, кто хорошо понимает настроения, чувства другого и способен сопереживать этим чужим чувствам. Но для того, чтобы судить о человеческих проблемах, необходимо хорошо в них разбираться, необходимо уметь проникать в духовный мир другого человека, знать человеческую психологию, понимать суть человеческих поступков («мотивы поведения», как говорят психологи).

Конечно, не следует рассматривать этот собирательный портрет интересного человека как норму для каждого. Все это составляет скорее некий эталон, которого редко кто достигает, но стремиться к которому не помешает никому.

Правда, одного стремления мало, необходима помощь науки, психологии. А у нас в школе почему-то изучение психологии не считается обязательным. Хотя, наверное, трудно найти человека, которому было бы неинтересно лучше знать и понимать людей.

Но многое, разумеется, зависит и от нашей собственной инициативы. Не лениться думать над сутью явлений (кстати, новые школьные программы очень способствуют развитию мышления), быть искренне доброжелательным к окружающим людям, уметь не просто наблюдать человеческие отношения, но и вникать в их сложную суть — все это, несомненно, углубляет человека, делает его тоньше, а значит, и привлекательней.

И все же мы знаем немало примеров, когда человек вроде бы и образован, и неглуп, а вот большой симпатии не вызывает. Это уже пробел в чисто внешней манере поведения, недостаток общительности, а иногда и простая невоспитанность. Любопытно, что пренебрежение к людям — нарочитое,

подчеркнутое — свойственно не только малокультурным, но порой и интеллектуально развитым молодым людям. Есть здесь и своеобразная бравада: все это, мол, условности — «живините», «простите», «пожалуйста», всякие церемонии, а мы выше этого, мы знаем, что главное — это то, что человек мыслит и какой суммой информации обладает.

Что ж, истинная ценность человека, конечно, не в том, как он держится, а (как мы уже говорили) в том, что он собой представляет как личность. С этим никто и не спорит. Но ведь речь идет не о «голом человеке на голой земле», а о существе общественном, которое живет в окружении себе подобных. И значит, нельзя не думать о том, чтобы этим тебе подобным было бы с тобой приятно иметь дело — не только девушке, которая понравилась, но и соседке по дому, и коллеге по работе, и старушке, которая пришла в гости к твоей бабушке. В нашей печати в последнее время много говорится о культуре поведения, сообщаются очень полезные сведения, хотя некоторые из них и грешат примитивизмом. Потому что дело ведь не столько в правилах хорошего тона, сколько в том внутреннем чувстве такта и меры, который не позволяет сделать чего-либо, что было бы неэтично по отношению к окружающим.

В повседневной жизни, кстати, умение внешне держаться тактично, воспитанно, с достоинством ценится очень высоко. Если юноша, скажем, груб, или угрюмо-молчалив, или чрезмерно названья, вам как-то уже и не хочется иметь с ним дело, даже когда вам известно от других, что это очень содержательный человек.

Я постаралась здесь избежать слов «манера держаться», потому что их порой путают с манерностью. Нередко мы видим, как молодой человек ведет себя натынуто, напыщенно, напряженно. Не просто говорит — произносит; не естественно смеется, а деланно; не просто утира — вежливо чрезмерно. Все это, разумеется, как и всякая чрезмерность, малоприятно. Однако не стану спорить, что естественность как манера поведения дается далеко не всем. Влюбленные хорошо, например, знают, что только немногим удается вести себя непринужденно в присутствии любимого человека. Иногда, чтобы понравиться, юноша или девушка дают себе задание: буду сегодня чрезвычайно весел, или, наоборот, очень молчалива, или еще — буду вести себя так, как будто мне все безразлично. Ничего хорошего из таких искусственных намерений обычно не выходит. Человек утрачивает главное, что определяет его Я, — естественность, истинность. Чаще всего это не остается незамеченным.

Ну и, конечно, совсем не последнюю роль в мужском или женском обаянии играет внешность. Правда, в нашем сегодняшнем разговоре я так упорно отодвигаю на дальний план внешнюю привлекательность, что может показаться, будто считаю ее вовсе незначительным признаком. Отнюдь... Просто в первую очередь хочется обратить внимание на качества, которые мы сами в себе можем воспитать. А красота — что же, она от природы, тут нашей заслуги нет. Здесь идет, конечно, речь лишь о той красоте — гармонии черт, сочетании красок, пропорции линий, — которая от нас не зависит.

Впрочем, так ли уж не зависит? Лицо, фигура, одежда, осанка — разве мы ничего не можем во всех этих внешних атрибутах изменить?

Мне довелось бывать много раз во ВГИКе — Всесоюзном государственном институте кинематографии. И каждый раз бросалась в глаза разница меж

дуками первого курса — нет, даже первых недель первого курса — и, скажем, третьего, четвертого. Они все, как правило, становятся значительно красивее. В чем тут дело?

Ну прежде всего, уже на первых же занятиях по актерскому мастерству студентов учат всячески развивать свои личные, индивидуальные черты. Из массы мальчиков и девочек постепенно выделяются характеры, индивидуальности, что в значительной мере отражается и на внешности. Иными словами, внутреннее содержание у будущих актеров постепенно получает внешнюю выразительность. Развивают у актерской молодежи и умение свободно держаться, легко владеть своим телом, красиво двигаться.

А кроме того, почти у каждого есть огромный запас и неиспользованных внешних возможностей, которые он может вызвать к жизни сам, а может — с умелой помощью специалистов: парикмахеров, косметологов, художников-модельеров, портных. Почему же мы далеко не всегда этот резерв используем? Иногда — от излишней застенчивости: как это я модно постригусь или собою юбку по последнему номеру журнала мод? Но чаще — от неэстетичного вкуса. И эта вторая причина, кстати, куда неприятней первой. Именно от плохого вкуса девушка может надеть туалет немилых сочетаний, где будет перепутано все — и стиль, и несоместимые краски, и не идущие к фигуре линии. Иногда кажется, что ее дурной вкус, эстетическую безграмотность не так уж трудно ликвидировать, и молодым людям часто советуют: посещайте художественные выставки, приходите в Дом моделей, выписывайте журналы мод. Это, конечно, в какой-то степени может исправить или сформировать вкус, особенно если, скажем, опытные художники дают квалифицированные советы, как лучше одеваться. Но, к сожалению, истинно хороший в широком понимании вкус подобные советы развить не могут. Для этого необходима внутренняя культура. Только она подскажет то чувство допустимого, то чувство меры, то «чуть-чуть», которое делает внешний облик человека выразительным и приятным. Добавлю еще, что не надо здесь ссылаться на ограниченность материальных средств — модную вещь можношить из очень недорогой ткани.

Однако... Не слишком ли далеко мы в своих рассуждениях об идеале отошли от нашей темы — брак и семья? Нет, не слишком, ибо все это — важная часть той же проблемы.



Лев КОКИН

ЗАПИСЬ ВСЕГО

Голография — от греч. *hólōs*,
весь, полный и... графия
(БСЭ, т. 7).
...три,— сказала Алиса и
пригнула в Зеркалье.
Льюис Каррол. «Сквозь зеркало,
и что там увидела Алиса».

1

ИЗ БЛОКНОТА (разговор с Денисюком): — Не знаю, стоит ли вам братья за это — писать о живом человеке. В этом есть что-то неверное, что меня отталкивает. И я раньше славил не искал, а теперь, после Ленинской премии, предпочитаю от нее скрываться. Конечно, история в известной степени поучительная, особенно для молодежи, для мальчишек, когда все еще ломкое, неустоявшееся, когда все интересно и все интересное примеривается к себе так, что каждая новая нинкина или даже статья таит в себе вероятность выбора. Сам в свое время столько перечитал! А теперь — голография в моде! — часто приглашают к лекциям; так вот, для меня самая благодарная аудитория — школьники, мальчишки. У сына выступал в школе, просто удовольствие получал. Для этого народа, вы правы, рассказы стоят.

ИЗ НЕКРОЛОГА писателя-фантаста Н. А. Ефремова («Литературная газета», 11 октября 1972 г.): «Изобретатель голографического метода, позволяющего получать объемное изображение при обычном освещении, Денисюк признавался, что идею своего откровения почерпнул в рассказе И. Ефремова «Тень минувшего»...

ИЗ БЛОКНОТА (комментарий Денисюка): — Это правда, натолкнул меня на идею рассказ. Но только не «Тень минувшего» — я его позднее прочел: в нем изображение вымершего динозавра возникает в воздухе. А сначала — где зеркала, в котором люди

марсианина или что-то в таком духе... Я и задумался: как это можно осуществить? А, у нас и нинкина с собой, интересно, посмотрим, посмотрим; я ее, должно быть, с тех пор не листал. У сына наверняка есть; да мне некогда... Вот-вот, это самое произведение Это место... вот он, первый толчок.

ИЗ ПОВЕСТИ «Звездные корабли»: «...Оба профессора невольно соротузились. Из тусклой, совершенно прозрачного слоя увеличенное неведомым оптическим ухищрением до своих естественных размеров на них взглянуло странное, но, несомненно, человеческое лицо. Невзвистым способом изображение было сделано рельефным, а главное — необыкновенно, невероятно живым... в упор смотрели громадные выпуклые глаза... произзванные умом и напряженной волей...»

2

Мало ли молодых инженеров читает фантастику? Денисюк не был среди них исключением. Он работал в Оптическом институте и занимался оптическими приборами. А поскольку он только что кончил Институт точной механики и оптики, то казалось, инженерная его судьба складывается отлично, развивается в избранном направлении. А он почему-то не испытывал удовлетворенности, и жена его, Гапка, бывшая сокурсница, ставшая сослуживцей, который, в силу всего этого должна бы понимать его, как никто, не могла до конца уяснить, чего Юрка хочет. Он и сам не знал толком. Видел янши, что высокая наука — квантовая механика и т.д. из, которую проныска как выпускник инженерно-физического факультета, — едва ли пригодится в том деле, за какое получал зарплату. Ему дали делать прибор, и он сделал: рассчитал, сматерировал, испытал и проверил, и начальство им было довольно, потому как толково делал, добросовестно и с умом. А он тосковал на своей инженерской орбите.

Впрочем, мало ли молодых инженеров поначалу тоскует, не умея приложить обширных своих познаний к практической повседневной работе? В этом тоже Денисюк исключением не был. Со временем человек становится полноценным работником, специалистом. И тогда обычно становится ясно, что познания пригодятся в тонких тонкостях и глубоких глубинах узкой области, в какой он специалист. Каждое дело, когда в него углубишься, вскроешь непознанные пласты, как правило, становится интересным.

Денисюк этому правилу не захотел подчиниться, стал искать дело, на котором смог бы как следует развернуться, применить свой научный багаж — уж такой у него был масштаб!.. теоретика, что ли, хоть в тогдашней, пятидесятилетней давности оптике все это было не так-то просто.

И ему повезло. После долгих раздумий натолкнулся он на тот удивительный диск из повести, на это обладавшее памятью зеркальце... Издавали, однако, это произведение большими тиражами, а наткнулся почему-то один Денисюк. Удача, — сошлемся по этому поводу на авторитет Пастера, — удача одаривает только подготовленные умы.

Теперь легко говорить: удача. Тогда же, в начале, да, увы, и не только в начале, захватившая его неопытная идея оборачивалась совсем иной стороной. Это только в научных статьях мир идей и проблем существует сам по себе, независимо от всего остального. А «все остальное» — это наш, человеческий мир, и жена, и ребенок, и работа, за какую получаешь зарплату... И поскольку справляешься, тебе предлагают еще подставки, вовсе не лишние, учитывая и жену и ребенка... Но твоим замыслам это наперекор, вот какая загвоздка. После работы и без того котлолет таялеюк...

Кто скажет, что ситуация бесконфликтна? Слова о равной разуму напряженной воле повторить тут было бы очень к месту.

Он, наверное, не раз их себе повторял.

3

В мире знания важны прежде всего результаты, а не путь человеческий к ним.

Не простое дело восстановить ход мысли, в особенности когда это мысли — и только; умозрения не оставляют следов, и даже если удастся, оглядываясь, воспроизвести логическую цепочку, нельзя поручиться за полную достоверность. За правдоподобие — и то хорошо. Таково свойство ума: раз поняв, представляешь себе, что всегда так Думал. Трудно освоиться с непривычным, с новым. Но, уж освоившись, одолев барьер, не менее трудно вообразить, что этого много видел иначе. Другое дело, если мысли освещены в экспериментах, в статьях, в докладах. Тут есть историческая основа. Только тихи, историк!

Но Денисюк (так сложилось), прежде чем поставить первый эксперимент, продумал идею чуть ли не до конца.

Ход упрямых его размышлений видится примерно таким (от пачки).

Всякий освещенный предмет рассеивает, отражает лучи — эти потоки световых волн, что падают на него. Волновую природу света предсказал еще Гюйгенс (в 1690 году). Волновая теория позволяет понять: как воспринимать измененные при отражении от предмета световые волны — именно так мы видим предметы... И если бы этот поток волн, это образованное ими в пространстве волновое поле каким-то способом удалось в точности, в деталях, со всеми подробностями воспроизвести, вот тогда предмет, которого сейчас нет перед глазами, представился бы нам не менее реально, чем если бы был...

С подобными иллюзиями мы ведь давно свыкались. Только малый ребенок пытается потрогать свое отражение в зеркале и убеждается довольно скоро, что там нет такого. «Это, верно, один обман», — говорит Алиса. Секрет зеркала, во всяком случае, разгадывают куда раньше, чем наука мысленно продолжает отраженные лучи... И лишь в кино удается трюк — диалог с отражением в зеркале.

Задача, которую задал себе инженер Денисюк, в сущности, была от этого не так далека: в самом деле отделить отражение от предмета, создать за ним и на юще зеркало.

Представьте: изображение в зеркале существует само по себе. Заглянув в него сбоку и выйдя из профиля. Можешь рассмотреть и то, что за ним, позади, ощупая объем, глубину. Близки света на блестящих деталях яркие, они перебегают как бы вслед твоему взгляду, пересперкивают, скользят, как наяву.

Что фотография? По сравнению с этим очень грубая вещь, подделка, в несовершенстве которой легко убедиться. Достаточно просто сместить глаза, сменить точку наблюдения, как поймешь, что видишь на снимке не сам предмет, а всего лишь его проекцию на плоскость.

И все-таки фотография — великая вещь! Под действием света меняется прозрачность фотозмуськи; не надо быть оптиком, чтоб это знать. Равно как и то, сколь многим обязана обладающей фотохимической памятью пластинке человеческая культура.

Конечно, никто не спугает фотоснимком с предметом, и, более того, нужен навык, чтобы по снимку

представить себе предмет: фотография в известной мере условна. Но именно от фотопластины можно было ждать помощи в создании запоминающего зеркала: запомнить изменения световых волн она бы смогла... Следовало лишь воспользоваться давно, более полутора веков известным явлением — интерференцией световых волн... И странно было, что до этого не додумались раньше!

Интерференцию вызывает наложение волн друг на друга. Стояло Томасу Юнгу (еще в 1804 году) на их пути поставить экран, как на этом экране появлялась некая чересполосица света и тени, «зебра» интерференционных полос (темных там, где волны взаимно погасили друг друга, светлых — где они, напротив, совпали). Перегородит поток волн, отраженных предметом, и в то же время направит на экран освещающие лучи — вот что решил Денисюк. И чтобы экраном при этом служила фотопластинка. На ней «зебра» запечатлится — и волновая фотография готова!

Привлечем для ясности математический аппарат, знакомый еще по начальной школе. Правило вычитания: если от уменьшаемого отнять вычитаемое, получится разность. Так вот, полосатая «зебра» и есть разность от вычитания волн, отраженных предметом, из волн освещающих. Но, увы, в этой разности ничем не узнать предмета: глазу, как уже говорились, нужны для этого сами отраженные волны.

Денисюк для себя сформулировал так: чтобы восстановить по волновой фотографии вид предмета, надо его осветить точно так же, как был освещен сам предмет при съемке. Тогда, пройдя сквозь «зебру», как сквозь сито, освещающие волны превратятся в копию отраженных предметов. (Те же правила арифметики подсказывают: вычитаемое равно уменьшаемому минус разность... Отраженные волны равны освещающим минус «зебра»...) И тогда за пластинкой возникнет копия волнового поля — поля волн, отраженных предметом, или, иными словами, его объемное изображение. И создается при этом полная иллюзия действительности!

(Ну, а тот, кто в арифметике совсем не силен, пусть примет за аналогю не вычитание, а... выание. Я беру глыбу и отсекаю от нее все лишнее», — говорил Роден. Когда же «лишнее» определено заранее, не нужен Роден, достаточно каменотеса... Или: не нужен предмет, хватит его волновой фотографии... Денисюк вроде бы вправе повторить за Роденом: «Беру свет и выбрасываю из него все лишнее...»)

4

ИЗВЕСТНО: Оно, конечно, сказать все можно, а ты поди демонстрируй! (Менделеев).

Для того, чтобы продемонстрировать, инженеру Денисюку пришлось превратиться в аспиранта, сдав положенные экзамены и пройдя по конкурсу. Зарплата это ему отнюдь не прибавило, зато избавило от инженерской работы и, казалось, давало возможность приступить наконец к экспериментам.

На деле, однако, это удалось далеко не сразу. Казалось бы, просто: помести в волновое поле фотопластинку, «зебра» отпечатается на ней, и затем останется лишь насквозь ее просветить. В принципе оно так и было. Но недаром у инженеров присказка: прибор должен действовать не в принципе, а в кожухе...

Все должно было получиться — так казалось — лишь при очень тонком светочувствительном слое (что-то меньше трети микрона, в половину длинны

световой волны]. В более же толстой, объемной эмульсии вместо четких интерференционных полос, казалось, запишется какая-то неразбериха...

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА «Образы внешнего мира» (журнал «Природа», 1971): «...Поиски фотографического материала, толщина эмульсионного слоя которого была бы меньше этой, и без того очень малой величины (треть микрона), к успеху не привели. Задача казалась совершенно безнадежной...»

ИЗ ТОЙ ЖЕ СТАТЬИ: «В конце концов возникло предположение, что и объемная картина несет в себе информацию...»

Предположением этим он обязан был одному из пионеров цветной фотографии, Габриэлю Липману.

Из ВСЭ, том 46: «В 1891 француз физик Г. Липман разработал прямой метод фиксации фотографич. снимков в естественных цветах, основанный на интерференции световых волн... Несмотря на высокое качество изображений спектров, интерференционный метод... не получил распространения из-за его технич. сложности...»

Денисюка «технич. сложность» не отпугнула. Дело в том, что при съемке «по Липману» в толстом слое эмульсии отлагаются волнистые зеркальные прослойки из серебра — запечатленные интерференционные волны. Денисюку пришла мысль, что прихотливые их изгибы могут заключать в себе полные сведения о волновом поле.

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА в журнале «Природа» (примечание): «История работ Липмана ярко иллюстрирует причудливый и странный характер выяснения истины в науке. Липман фанатически ...разработал технику регистрации стоячих (то есть, интерференционных) световых волн. Независимо от этого Липман мечтал о получении изображений, создающих полную иллюзию действительности... и даже предложил метод регистрации. Однако этот метод не имел никакой связи с его же собственными работами...»

5

Для первой съемки Денисюк подбирал такой предмет, чтобы «обманный» его двойник как можно полнее выразил его свойства. Остановился на зеркале — вогнутом, собирающем лучи в фокус. Оптический двойник зеркала сам должен быть зеркалом!

И наступил день...

Это был поистине острый эксперимент, тот самый классический в чистом виде «экспериментум crucis», который должен разрешать все сомнения и надежды, отвечать либо да, либо нет на вопросы, заданные природе. К этому дню Денисюк готовился несколько лет. И вот день наступил...

ИЗ БЛОКНОТА: Держу в руках волновую фотографию вогнутого зеркала. Это принято другое название (голограмма). Если не ту, первую, то, во всяком случае, ее близнеца. Держу с объяснимым трепетом — как бы не выронить, расколется исторический экспонат..., но меня утешают: мол, был такой случай, когда голограмму разбили. Хотели осколки выбрасывать, но прежде решили взглянуть, а что в них видно. И оказалось — видно все, только ближе надо рассматривать. Такая же разница, как между форточкой и окном: либо поле зрения сужено, либо надо поближе подойти.

...Держу, стало быть, голограмму — на стеклянной пластинке розоватый круг побольше металлического рубля. Навожу круг на солнце, и тут же неподалеку вспыхивает зайчик, точка ярко-зеленая потому, что сжималась в зеленом свете ртутной лампы. Направляю ее на ладонь. Не жжет. Заглядываю, пытаюсь разобрать, что там «внутри». Когда обводишь кружок

взглядом и поворачиваешь, покачиваешь при этом пластинку, там вспыхивают зеленые блики и иногда разбегаются крестом с красной и синей поперечинами — в согласии с законами волновой оптики...

ИЗВЕСТНО: Оптика — древняя наука, ее летописи хранят предания о событиях необыкновенных и поразительных. Так, Архимед Сиракузский поджег римские корабли неподалеку от Сиракуз, сконцентрировав солнечный свет «защитительными» вогнутыми зеркалами.

ИЗ БЛОКНОТА (со слов Денисюка): — А я голограммой зеркала глазом обмахивать старался рассматривать, или все же отпихивать чем-то от зеркала. Ну, и не заметил, как повердил роговицу. Пришлось капли капнуть...

Легенды об Архимеде он, должно быть, не вспомнил при этом. И уж наверняка не подумал об Алисе, которая сомневалась, можно ли пить зеркальные молоко.

6

ИЗВЕСТНО: «Если я видел дальние грутты, то по тому, что стояла на плечах гигантов» (Ньютон).

Инженер Денисюк, аспирант Оптического института, опирался на труды достойных предшественников — Христиана Гюйгенса и Томаса Юнга, Эрнста Аббе, Габриэля Липмана, Уильяма Брэгга...

Но был у него еще один предшественник, о котором он до поры до времени не подозревал.

ИЗ БЛОКНОТА (со слов Денисюка): — Году в шестидесятом один товарищ из нашего института пришел из-за границы и каникулы научничать от меня просматривал, перепистывал. И в статье некоего Гуссейна Эль-Сама из Стенфордского университета наткнулся на имя Габора; оно мне мало что говорило. Автор, однако, ссылался на работу, которая, похоже, напоминала мою. По этой ссылке я и отыскал статью Габора в «Трудах Королевского общества» за 1949 год. Отыскал, прочел аннотацию, и стало мне плохо с сердцем, первый раз в жизни.

Английский физик Денис Габор, по происхождению венгр, эмигрант из нацистской Германии, работал в фирме «Бритиш Томпсон Наустон Рагби» над усовершенствованием электронного микроскопа.

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА: «Габор столкнулся с необходимостью улучшить качество изображения, которое сильно искажалось так называемой сферической аберрацией электронных линз. На первый взгляд эта трудность не кажется значительной: известно, что сферическая аберрация обычных линз исправляется достаточно просто. Однако в электронной оптике действуют несколько иные законы, и сферическую аберрацию в этом случае невозможно исправить. На этот счет была даже доказана соответствующая теорема... Именно для решения такой, в общем, весьма частной, однако вместе с тем очень характерной задачи и была предложена голография (термин ввел Габор)»

Идея Габора состояла в том, чтобы, получив голограмму, создавая рассеянные электроны, воссоздать изображение при помощи света — и обойти тем самым «соответствующую» теорему. Как на своих предшественников, Габор ссылался при этом на тех же Гюйгенса, Аббе, Брэгга...

ИЗ БЛОКНОТА (со слов Денисюка): — Справившись с вполне объяснимыми эмоциями, я тогда тщательно переносил статью Габора и, разобравшись, что не так там с моими идеями, начал. Сначала то показались: он сделал все. Но нет, и на мою долю кое-что осталось...



Юрий Николаевич
Денисюк

Полученное Габором изображение имело вид темного силуэта на светлом фоне, как бы тени; это кружево, лишь отдаленно напоминавшее объект, отнюдь не претендовало на иллюзию действительности. Собственно, этого и не требовалось для тех специальных задач, которые решал исследователь. Во многом отличалась и схема опыта.

Из статьи ДЕНИСЮКА: «Недостатки сильно ограничивали область применения метода (Габо́ра), и поэтому в течение десятилетия он развивался главным образом в приложениях к некоторым задачам электронной и рентгеновской микроскопии. О возможности получения объемных оптических изображений естественных объектов в то время даже не упоминалось. И все же, несмотря на все недостатки и ограничения этого метода, именно Габо́р признан основателем голографии. И это, безусловно, правильно.»

За основополагающие исследования в области голографии Денисю Габору была присуждена Нобелевская премия по физике 1971 года.

7

Когда Денисюк понял, что не просто повторил сделанное Габором, от сердца отлегло. Однако открытие (для себя) статьи Габо́ра заставило поторопиться с изложением собственных результатов (для других). Точнее, не поторопиться (это слово сюда едва ли подходит), а перестать медлить: материала к тому времени набралось на... пять статей. Он не спешил с публикацией не потому, что был медлителен или нерешителен по натуре, вовсе нет. Считал правильным дожидаться «эксперименту крупис». Подтвержденные опытом теоретические построения выглядят куда убедительнее... А ведь он, автор, претендовал не на мелочь какую-то — на открытие нового явления. До тех пор известны были всего лишь два способа светового изображения: теневая проекция и с помощью линзы (на чем основана вся геометрическая оптика). В своих пяти статьях Денисюк описывал третий, доселе неизвестный человечеству способ. В редакции научного журнала, куда автор принес их скопом, на него однако посмотрели с недоумением. Таких многосерийных произведений в журнал не давали и академики. А тут аспирант неостепененный. И полностью представлял обогащаемого им человечества по советовади статьи объединить. В одну...

Что ж, автор не стал особенно с этим спорить. Объединил. И приложил к статье сопроводительное письмо.

Из ПИСЬМА ДЕНИСЮКА в редакцию научного журнала: «...Я отдаю себе отчет в том, что объем статьи превышает принятые нормы. Прошу, однако, учесть следующее. Настоящая работа представляет собою обобщение метода цветной фотографии Липмана и голограммного метода Габо́ра. На русском языке работ, посвященных липмановской фотографии, не было. Существуют только схематичные описания в курсах оптики. Что же касается голограммного метода, то какие-либо упоминания о нем в советской технической литературе вообще отсутствуют.

Вместе с тем журнал «Труды Королевского общества» (Лондон) счел возможным уделить изложению этого метода 33 страницы... Показательно также, что такой известный оптик, как М. Борн, в своей книге счел необходимым привести подробное описание этого метода...

Автор не берется сам судить о правильности выдвигаемой им теории, однако считает бесспорным, что рассматриваемый в ней общий случай гораздо более трудно доказать, чем случай, рассматриваемый в голограммном методе...»

Автор не брался судить о своей теории. Этим занимались другие.

8

Спустя восемь лет после описываемых здесь событий кандидат технических наук Юрий Николаевич Денисюк получил Ленинскую премию. Вместе с лауреатом чувствовала себя именинником и его многолетний начальник Александр Ефимович Елькин.

Из БЛОКНОТА (со слов донтора технических наук А. Е. Елькина): — Когда меня с его Ленинской поздравляли — вот, мол, ваш ученик! — я отвечал: он не ученик мой, а воспитанник... Я и помочь-то ему мало чем мог. Не мешал. Да кое-что присоветовал. Мне его когда-то как инженера дали, на срочную тему. Вдумчивый, способный парень, это скоро стало ясно. Но «волновой фотографии» я не мог оценить. Не физик. Чувствовалось интересно, а оценить не мог... Нужна-то была, сами понимаете, работа. Так что экспериментами ему удалось заняться, лишь став аспирантом. Эта его голограмма — вогнутое зеркало — производила впечатление, я ему даже лаборантку дал, и они вдвоем колодали над эмульсиями. Когда он написал статью, я ему сказал: выните, не потеряйте ли приоритет. По открытию у меня, правда, опыта не было. По изобретениям только. Там порядок такой: сначала оформи заявку, а потом уже можно публиковать...

Елькин был его наставником. А кто же учителем? Похоже, что Старый Борь, как принято было со студенческих пор именовать уже к тому времени затерпанную «Оптику» Макса Борна, изданную в Харькове в 1937 году. Вот книга! И вот ученые! Из тех гигантов, которым проще самому написать новую главу науки, нежели составлять ее из чужих сочинений. (Так думает Денисюк.)

...По совету опытного своего наставника Денисюк подал заявку на открытие нового явления. Это было в феврале 1962 года, а к осени он уже располагал тремя отзывами из солидных научных учреждений. В первом отзыве говорилось: данное явление не отличается от голограммного метода Габора. Во втором утверждалось: оно не отличается от метода цветной фотографии Липмана. В третьем же провозглашалось, будто данного явления вовсе не существует, работа Денисюка несостоятельна, а слово «открытие» применительно к этому заключалось в кавычки. Вот так!

Три единодушных в своем отрицании мнения за исключением решительного «нет!» не сходились ни в чем. Когда бы сошлись, это было бы более чем грустно... Но, сложенные вместе, отзывы взаимно исключали, уничтожали друг друга... как световые волны в противофазе...

Ну, и, кроме того, пока несообразные отзывы вызревали, происходили и события иного порядка. Журнал «Доклады Академии наук СССР» по представлению академика В. П. Липкина «Работа очень интересная», — писал академик, — печатал короткую статью Денисюка (в июне 1962 г.), статью-концепт с изложением самой сути, и на публикацию откликнулся Денис Габор: прислал новые свои материалы.

А это уже позволяло Денисюку спокойно отражать выпады оппонентов, в ряду которых находились, увы, и ученый совет родного Оптического института.

Впрочем — постарается быть объективным, — его открытие уже не было для него делом жизни и смерти. Инженер, а потом аспирант, который многим пожертвовал ради своей идеи, к этому времени стал завлаблом, хотя тематика лаборатория по-прежнему была от идеи его далека. Чем-то он поступился, не нашел в себе «напряженной воли» жизнь класть на доказательство своей правоты. Возможно, устал. А возможно, не считал для себя главным просветить тех, кто противился просвещению. Это ведь была уже не наука, а, если хотите, педагогика. Денисюк считал, что сделал свое дело и рано или поздно в открытом им разберутся, раз явление существует. Уж в этом-то он был уверен: оно существовало!

ИЗВЕСТНО: великий Галилей не пошел на костер, хоть и с ясностью понимал, что «все-таки она вертится».

9

ИЗВЕСТНО: «Несмотря на все свои революции, наука остается консервативной» (Оппенгеймер).

Всякое открытие, любой новый факт, тем паче, когда он неожидан, изменяет сумму знаний, сложившуюся до его появления. Принять эти изменения, не сопротивляясь, невозможно. В противном случае оказалась бы размытой граница между Знанием и Невежеством. Такова диалектика.

И в то же время ИЗВЕСТНО: «Каким бы крупным ученым ты ни был, с определенного возраста появляются так называемые «слишком трудные понятия»... (Планк).

Одним из самых решительных рубителей денисюковской идеи оказался, однако, некий младший научный сотрудник, который рубил со свойственной молодости и достойной лучшего применения дерзостью. Из доброй сотни страниц он, по мнению Денисюка, прочел не далее третьей. Доберись он хоть до четвертой, то обнаружил бы несостоятельность не в работе Денисюка, а в собственном на нее взгляде. Но поскольку этого не случилось, его отзыв сыграл роковую роль.

ИЗ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА. «...С бьющимся сердцем переступил я редакционный порог — Вот, сочинил новеллу, — пробормотал я. — Зачем? — строго спросил редактор...»

ИЗВЕСТНО: «К чему новорожденный ребенок?..» (Вениамином Франклином).

ИЗВЕСТНО также: ученый монах Роджер Бэкон во второй половине XIII века заметил, что согнутая линза помогает лучше видеть пожилым братьям. В сущности, это было изобретением очков. Наши предки (в лице церкви) отблагородили изобретателя тюрьмой, где он провел около сорока лет.

ИЗ СТАТЬИ «ВЭКОН. Роджер» (БСЭ. том 6) «С точки зрения В. существовали четыре помехи познанию истины: предрешение перед ложным авторитетом, укоренившаяся привычка к старому, мнения неведд, гордыня мнимой мудрости...»

Комитет по делам изобретений и открытий не признал открытия Ю. Н. Денисюка. Ошибочное, как потом оказалось, решение, принятое 29 октября 1962 года, исправлено в 1970-м.

10

...Все же, по авторитетному свидетельству Макса Планка, «слишком трудные понятия» появлялись с определенного возраста. И в нашей истории это вроде бы липиний раз подтвердилось. Публично, при свидетелях, на предзачитке. (К чему эта репетиция перед защитой диссертации, сказать затрудняюсь.)

ИЗ БЛОКНОТА (со слов свидетеля предзачитки Элы Земцовской, старшего инженера): — Юрий Николаевич очень волновался, от волнения слова не мог сказать. Допладал зачитывала жена. Члены совета рассматривали экспонаты — голограммы согнутого зеркала и микрометрической шкалы. Придирчиво — на свет, против света. Шкала наглядно показывала четкость изображения. Но возмозило оно почти на самой пластинке. (Зто тем объясняется, что сменили тогда не в лучах лазера, как снимают теперь, а при свете ртутной лампы.) И вот один известный старый ученый резко выступил против: это, мол, обычные дифрактивные с изображениями на самой пластинке. А все остальное — фантазии. Кто-то его поддержал, кто-то робко стал возражать. Мы, совсем зеленые, только из института, сами не решились судить, кто прав, но почему-то сразу взяли сторону Денисюка... И защите его все-таки допустили. Сошли, что в кандидатской работе не обязательно открывать что-то новое. Достаточно продемонстрировать умение вести исследовательскую работу. С этим-то никто не стал спорить...

Действительно, известный ученый, который выступил против, был стар... Но и поддерживавший Денисюка академик Липиник ненамного был моложе. Так же, как академики Капица и Обернов, которых, наряду с Липиником, Денисюк в одной из первых своих статей благодарил за внимание и поддержку. Зато конструктору, о ком шла речь раньше, в ту пору не стукнуло и тридцати. Так что не стоит понимать Макса Планка чересчур буквально.

...Свои первые голограммы Денисюк снимал в свете ртутной лампы. Изображения, это правда, получались тускловаты. Чтобы сделать ярче, приходилось по-всякому искривляться. Он возился с эмульсиями и их рецептурой и менял спектр света в поисках лучших вариантов. Но ртутная лампа есть ртутная лампа... Других источников однорядного, когерентного света в ту пору еще не существовало (источник тем более когерентен, чем меньше отличается друг от друга излучаемые им волны).

ИЗ БЛОННОТА (со слов Денисюка): — О лазере я от коллег услышал и оценил его значение для голографии скоро, о чем тогда же и написал. Но сам в то время голографией уже перестал заниматься...

Год рождения лазера, или оптического квантового генератора, — 1960.

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА (октябрь 1963): «...Основная трудность заключалась в отсутствии достаточно яркого источника монохроматического излучения... Существенный прогресс в этом направлении должен был достигнут использованием квантовых генераторов, излучение которых обладает большой яркостью при очень высокой монохроматичности...»

В сущности, эта мысль — о применении нового, необычно яркого источника света для голографии — напрашивалась сама собой и, естественно, пришла не в одну голову. А поскольку Денисюк занимался совсем иными делами, то и осуществлял это на практике, естественно, другой исследователь. Точнее, другие... Экспериментально такие голограммы впервые получили американские физики Э. Лейт и Ю. Упатникс в 1964 году.

ИЗ СТАТЬИ ЭММЕТА ЛЕЙТА И ЮРИСА УПАТНИКСА (журнал «Наука и жизнь», 1963): «...Применяя газовый лазер в качестве источника света, мы в нашей лаборатории Мичиганского университета научились получать высококачественные трехмерные голограммы изображения. Частично в результате наших исследований, частично в результате того, что лазер как источник когерентного света сулит колоссальные, еще не изведенные перспективы, интерес к возможному применению этого замечательного фотографического процесса ныне значительно возрос...»

В этой переведенной из журнала «Scientific American» статье Денисюк не упоминает ни разу. Тем не менее он мог быть благодарен авторам. Статья невольно напоминала — тем, разумеется, кто знает да забыл, — что ведь был и у нас аспирант, который носился с подобной идеей. Интерес к ее применению в самом деле значительно возрос... Словом, когда Юрию Денисюку предложили организовать новую лабораторию голографии, ему не надо было раздумывать над ответом.

На солнечном припеке вместе с Димой Стаселько — сотрудником лаборатории голографии, молодым кандидатом наук — рассматриваем голографические снимки самого Димы. Снимки вдвойне Димины: он и фотограф (голограф!), он и объект съемки. Иными словами, рассматриваем голографические автопортреты.

Если уж быть совсем точным, рассмотреть их пытаюсь я. Дима показывает. Учит меня видеть. Для этого требуется пока что определенный навык.

Две стеклянные пластинки с виду не отличны. На обеих (по словам Димы) я покамест не вижу ничего — голограммы, снятые в лазерном свете. Но одна — по способу Лейта, а другая — по способу

Денисюка. Снимок «по Лейту», объясняет мне Дима, надо рассматривать в тех условиях, при каких велась съемка. То есть в тех же одноцветных лучах лазера. В белом солнечном свете, что содержит в себе всю радость (Дима, понятно, говорит: спектр), изображение смазывается. Но Дима все-таки показывает его — для сравнения.

Наставив пластинку на солнце, с трудом улавливаем некое красное пятно; под умелым Димыным руководством наконец вижу подобие красной маски с белыми прочерками губ и глаз.

Теперь очередь второй пластинки.

На просвет, против солнца, оно мутновато-прозрачно. («Под микроскопом, — комментирует Дима, — был бы виден замысловатый интерференционный узор, по внешности ничего общего с объектом.») Но снимок «по Денисюку» надо рассматривать не против, а по солнцу. Поворачиваемся, как по команде «кру-гом!», и когда я заглядываю на пластинку из-за Димыного плеча, мне просто кажется, что у него в руках зеркало. Правда, непривычное, темно-красное, будто бы медное. Дима выглядывает в нем изпод щеки.

(Комментарий Димы: «Снимок сделан в красной области спектра. Если б снимали в синей или зеленой, изменился бы соответственно цвет.»)

Если смотреть на изображение прямо, видишь Диму вполоборота. Он и на самом деле так стоит. Дима заглядывает справа, из-за другого его плеча, — на пластинке профиль. Шагнув влево, могу рассмотреть Димин фас.

Но я еще не поверил в портрет. Иллюзия зеркала так велика, что я поворачиваю Димину руку с пластинкой вместе, и, вот чудеса, в «зеркале» Димино лицо ложится набок, тогда как в натуре, разумеется, нет. А кроме того, в натуре оно смеется, тогда как на пластинке остается серьезным. Как ни верти, куда не денешься: это портрет. Без обмана! Или, точнее, с обманом, но только с оптическим. («Сейчас мы работаем над тем, — буднично говорит Дима, — чтобы добиться при воспроизведении естественности цветов.»)

В сущности, Дима Стаселько продемонстрировал мне то самое, от чего в повести «Звездные корабли» «невольно содрогнулись» оба профессора. То самое, что заставило в свое время молодого инженера Денисюка сделать выбор. То, что стало его целью. Он достиг ее весной 1969-го (разумеется, в первом приближении, вчерне).

Занялся этим сразу же, едва лаборатория образовалась. Но прежде чем «пущарка» у лазера произнес «клиенту» сакраментальное: «Спокойно, снимаю!» — пришлось поколотить голову над десятком проблем. Теперь, когда Денисюк был уже не один, ответы отыскивались сравнительно быстро.

В один прекрасный день у оптиков завелся лабораторный мышонок.

ИЗ БЛОННОТА (со слов Димы Стаселько): — Я его приобщил от знакомых из биологического института, и отвечал он многим требованиям, предъявляемым к нему наукой. А именно: был мал (то есть требовал минимальной мощности лазера), бел (то есть хорошо диффузно рассеивал свет) и прыток. Чтобы ограничить последнее свойство, при съемке сажали мышонка в тесную клетку и вскоре таким образом подбирали необходимую выдержку. Он составлял три сто миллионов доли секунды... Существование импульсных лазеров не справлялся с задачей. Пришлось разрабатывать собственный...

После нескольких десятков сеансов мышонок стал слепнуть... Но погиб не от лазера, а от банального воспаления легких. Испачкался, стал туже расщипывать свет, его вымыли и простудили... Как жертва науки

он был торжественно погребен под стенами Оптического института.

Вторым «живым объектом» стала человеческая рука. С ней экспериментировали, чтобы не терять времени, пока придумывали, как от лазерной вспышки предохранять глаза.

ИЗВЕСТНО: на первых фотоснимках-гагеротипах изображены наторморти. Когда же стали снимать портреты, то лица чуть ли не мелели белая, а голову удерживали в специальных захватах, чтобы не шевелилась. Выдержка достигала получаса.

ИЗВЕСТНО ТАКЖЕ: первые телевизионные передачи требовали такой освещенности, что вынести ее могли лишь гипсовые фигуры. Затем была передана изображение человеческой руки — впервые, кстати, здесь же, в Ленинграде, километрах в пятнадцати от Оптического института, в Лесном, в 1926-м...

ИЗ БЛОКНОТА (со слов Стаселько) — Придумали наконец между лазером и глазами поставить зрительнорассеиватель. Он снимал плотность излучения по расчету в миллион раз, но все же потока желющих запечатлеть для истории не наблюдалось. Короче говоря, с себя начали. Тема моя, я и сел первым, потом соавторы... Ощущение в момент съемки! Слово где-то сбоку махнут красным платком.

Голографическому портрету человека посвящен лишь один из разделов кандидатской работы Д. И. Стаселько по импульсной голографии. Кроме этого, на основе разработанных под руководством члена-корреспондента Академии наук СССР Юрия Николаевича Денисюка теории, схем, методов, с помощью «собственного» импульсного лазера получены голограммы таких мгновенных явлений, как, например, газовая струя при горении пороха.

14

Будущие возможности голографии Денисюк сумел оценить рано.

Из первой статьи ДЕНИСЮКА («Доклады АН СССР», 1962) — «... может оказаться полезным для развития изобразительной техники, в структурном анализе, гидролокации, радиолокации, ультразвуковой дефектоскопии, а также для изготовления элементов типа дифракционных решеток»...

Через год он прибавил к звуко- и радиовидению возможность делать видимыми и электронные волны (что сумел еще Габор) и рентгеновские. Теперь к этому добавляют потоки газов, и элементарных частиц, и космической пыли. Короткий импульс — «остановись, мгновенье!» — и волновой фронт заморожен, запечатлен, замурован. А потом, в «размороженном» виде, изучайте его, сколько и как хотите. Хоть полет пули или мезона, хоть взрыв, хоть термоядерную плазму!

Голографические приборы для контроля деталей... Голографические запоминающие устройства небывалой емкости...

Из СТАТЬИ ДЕНИСЮКА (журнал «Природа», 1971): «На первый взгляд такое изобилие возможностей может показаться простым следствием того, что главное приложение еще не найдено. Однако это не так. Специфика голографии как раз в том и состоит, что она представляет собою некое достаточно универсальное орудие исследования внешнего мира...»

И все же для самого Денисюка изображение — «необыкновенно, невероятно живое», — воссоздающее полную картину действительности, по-прежнему остается самым интересным, захватывающим. В отличие от многих исследователей, обратившихся к голографии для решения сугубо технических задач, он с этого начал и хранит этому верность.

ИЗ ЛЕКЦИИ ДЕНИСЮКА (1973): «Летчику, который пытается посадить в тумане самолет, приборы могут дать все необходимые данные. Однако цифры сами по себе мало что говорят пилоту. Можно, конечно, попытаться запустить их в компьютер, однако современный компьютер сторит быстрее, чем решит все возникающие в этой ситуации проблемы. Положение совершенно не меняется, если на основании этих цифр с помощью голографии подать пилоту «вычисленное» изображение посадочной полосы...

Миллионы людей во всем мире водят различные самодвижущиеся аппараты. Учиться управлять ими становится все сложнее и опаснее. Затраты по созданию тренажеров, на которых могли бы обучаться космонавты, пилоты, водители автомашин, в конечном счете оправдываются.

...Я не решаюсь подходить к тонкому и хрупкому миру искусства, расценивая его как входное устройство для мозга или тренажер для воспитания мыслей и чувств. Однако мне кажется бесспорным, что искусство кинематографии только выигрывает, если будет создавать полную иллюзию действительности изображаемых событий...

Проблема создания голографического кино технически весьма сложна... Однако работы в этой области существенно облегчит то, что наряду с такой дальней целью существуют гораздо более простые практические задачи, которые требуют развития той самой техники, которая может быть в дальнейшем использована при создании кинематографа...»

Что имеет в виду ученый под «более простыми практическими задачами»?

Это и синтез объемных рентгеновских изображений, над чем физики уже работают вместе с медиками. И синтез оптических макетов проектируемых зданий, конструкций, машин. И уже разработанная американскими специалистами голографическая система видеозаписи. И голографические «копии» скульптур и разнообразных художественных изделий для передвижных выставок и для обмена между музеями — такая работа начата в содружестве с Эрмитажем. И создание целых домашних «эрмитажей» из таких копий-диапозитивов путем их размножения...

ИЗВЕСТНО: Джонатан Свифт предсказал существование двух спутников Марса и даже назвал их — Фобос и Деймос. Слово «робот» придумал Чапек, а в гиперболе из Алексея Толстого без труда узнается лазер.

Число подобных примеров можно умножить. Но было бы более чем наивно сводить к таким «приложениям» взаимодействие искусства с наукой. Оно, это взаимодействие, разумеется, несравнимо сложнее. Все же в истории Юрия Денисюка любопытно, что круг замкнулся...

Из ТОЙ ЖЕ ЛЕКЦИИ: «... Действие, которое будто оказывать такой вид искусства на психику, трудно переоценить. Кто сможет остаться безучастным к разыгрывающимся рядом драматическим сценам? Фактически это будет совершенно новый вид искусства с принципиально новыми выразительными средствами. Есть все основания полагать, что широкое внедрение такой техники существенно определит образ жизни и психологию будущих поколений. Такая благородная цель стоит того, чтобы тратить на нее свои силы...»



В январе прошлого года на высокогорном катке в Давосе (Швейцария) норвежец Лассе Эфшин повторил лучшее мировое достижение в беге на коньках на дистанции 500 метров, установив новый рекорд мара на дистанции 1 000 метров и в сумме спринтерского многоборья набрав фантастическую сумму очков!

Коньки в Норвегии — национальный вид спорта. И понятно, что триумф Лассе Эфшина в Давосе вызвал бурю восторга у его соотечественников. Соборная крылеса не только в невероятных секундах Эфшина, но и в самой личности нового рекордсмена мира.

Лассе родился в 1944 году в Осло в семье врача (его отец — доктор медицины, профессор, заведует сейчас хирургическим отделением центральной городской больницы). Бегать на коньках Лассе начал с десяти лет и сразу же привлек к себе внимание своими выдающимися способностями. В 1961 году он стал абсолютным чемпионом страны среди юниоров.

Лассе прочил блестящую будущность на ледяной дорожке, но вдруг он ушел из большого спорта — решил завершить свое образование и поехал учиться в Тронхейм в Высшее техническое училище, избрав специальностью химию.

Он отказался от существующей практики, когда спортивные руководители добиваются для своих «звезд» академических отпусков в учебных заведениях. В 1969 году он получил диплом инженера. О конькобежце Эфшине за эти годы забыли. Только очень немногие знали, что зимой, в свободное от занятий время, Лассе продолжал тренировки в конькобежном клубе Тронхейма, а летом поддерживал свою спортивную форму самостоятельно. Стоит сказать также, что наряду с наукой он занимался в эти годы политикой, изучал марксизм, принимал к прогрессивным политическим организациям.

Отслужив в армии, Лассе поступил в радиологический центр Осло, где разрабатываются методы лечения злокачественных опухолей облучением. Постепенно он накопил исследовательский опыт, опубликовал несколько теоретических работ и стал собирать материалы для диссертации.

Став ученым, Лассе не оставил своей активной общественной деятельности. К тому же он женился, в

М. ТЕПЛОВ



Лассе Эфшин и его «Заколдованный круг»



молодой семье вскоре появился сын. Казалось, теперь Лассе Эшфину нет возврата в большой спорт: многолетний перерыв в серьезных тренировках и соревновании, научная работа, семья. Да и возраст уже не тот, чтобы начинать все сначала. Но он и на этот раз все решил по-своему.

На высшую ступень пьедестала почета в Давосе поднялся не просто конькобежец, а ученый и общественный деятель. Через месяц ему исполнилось 29 лет. Никто не ждал подобного исхода состязаний, в котором участвовали сильнейшие скоростехи мира. Это была настоящая сенсация. Сенсация номер один Лассе Эшфина.

Сенсация номер два этого человека преподнес в октябре прошлого года, когда вышел в свет его роман «Заколдованный круг». «Роман Эшфина — это бомба, брошенная в спортивный мир», «книга вызывает интерес и негодование в широких кругах» — таков был тон рецензий в норвежской прессе. Роман действительно никого не оставил равнодушным в Норвегии, был замечен и за ее пределами.

В предисловии автор пишет: «Роман изображает обстановку в норвежском конькобежном спорте, который я хорошо знаю, правда, но несколько утрировано. Это вызвано необходимостью выделить, подчеркнуть некоторые важные черты, чтобы привлечь к ним внимание... Многие из тех проблем, которые затронуты в книге в связи со спортом, характерны для всего нашего капиталистического общества... В «элитном спорте» такие явления приобретают особенно острый характер. Поэтому, взяв спорт как наглядный пример, в какой-то степени легче перейти к анализу проблем более широкого, общего плана. Я стремился к тому, чтобы мой роман рассматривался и обсуждался с обеих точек зрения: и как описание существующей ситуации в спорте и как отражение противоречий в нашем обществе».

Герой романа — конькобежец Оле Педер Бентсен, находящийся в зените своей спортивной славы. Он чемпион страны, победитель многих международных соревнований. Все называют его просто О-П, но индусам. Однажды кто-то на трибунах Бишлета, подбадривая Оле, стал топтать ногами и в такт кричать «О-П! О-П!» С тех пор эта кличка навсегда пристала к Бентсену, вошла в газетные отчеты и дала даже повод некоему бойкому репортеру бросить фразу: «О-П — опium для народа».

А как оценивает себя сам Оле?

«— Перед каждой гонкой я проклиную все на свете и прежде всего самого себя», — говорит он после очередной победы. — Зачем я так истязую себя? Теперь, когда все позади, ответ приходит сам собой: тщеславие удовлетворено. Все меня знают, все мной восхищаются. «О-П! — опium для народа». Люди — это рабы. Они сами заколачивают себя в железо, сами распяли себя своим преклонением. А нас гонит вперёд желание отделиться перед другими, подняться наверх. Нас подгоняет эгоизм».

В своих мыслях Оле еще более откровенен: «У меня маленькие, холодные глаза. Ну и что же? В большом спорте хорошо иметь именно такие глаза, это нравится. Я трачу все свои силы и способности только на себя одного. Правильно. В мире, где все грызется и стараются побольше пнуть друг друга, надо думать только о себе, надо уметь пробиться... Мне важно только одно — коньки. Все остальное ничего не значит и достойно презрения... Если мне изменит счастье, недостаток сил для борьбы, что будет тогда думать обо мне? Нужен ли я кому-нибудь? Нужен ли мне кто-нибудь? Нет, не нужен. Что же, я принимаю правила игры такими, каковы они есть!»

Его товарищи по спорту в этом отношении ничем

от него не отличаются. Впрочем, можно ли их называть товарищами в полном смысле слова? Там, наверное, их всего около двадцати человек, но товарищами считают себя всего шестеро или семеро из них. Все они суперголисты, пробившиеся в элиту в жестокой борьбе с другими. Каждый из них прежде всего думает только о себе. Каждый занят своими тренировками, следит за своей физической формой, носится со своей простудой, если она случается. Но они чувствуют, что для личных интересов каждого из них лучше, когда они держатся замкнутой группой. Поэтому они немного помогают друг другу, вместе ходят на вечеринки, поверяют друг другу разные мелочи из личной жизни. Разница в образовании почти не имеет значения, равно как и принадлежность к различным спортивным обществам. Каждый из них — «звезда» своего общества, вместе они — «созвездие» федерации, и это объединяет их в достаточной степени.

Всего этого не видно с трибуны стадиона, тем более, что на людях О-П держится совсем по-иному, чем в своем кругу. В этом ему помогают опытные писакки, распространившие, например, такое его высказывание: «Важно иметь не только здоровое тело, но и здоровый, уравновешенный взгляд на жизнь. Спортсмен является примером не только в физическом, но и в духовном отношении. Поэтому я всегда ощущаю, что на мне лежит и моральная ответственность, прежде всего перед молодежью». Вот он, благородный рыцарь, о котором вечерняя газета писала, что он «спас честь Норвегии!» Как же не устраивать ему овации, не орать в тысячу глоток: «О-П! О-П! О-П!»

А тем временем «удовлетворенного тщеславия» этому «рыцарю» уже мало. Он предъявляет своему спортивному обществу материальные требования. Ему нужна удобная и недорогая квартира, он хочет устроиться на такую работу, где, не будучи слишком занят, он получал бы хорошую зарплату. А если его общество не в состоянии удовлетворить эти его запросы, он переходит в другое, которое «устроит» и жилье, и должностную «ассистента по реализации» в какой-нибудь фирме, и бесплатное питание в королевском актовом зале, а может быть, и бесплатную «рекламную» автомашину на личное пользование. Этот «подвижник» уже не удовлетворяется кубками и вазами, которые он после победы в присутствии тысяч зрителей с картинной улыбкой поднимает над головой. Его большие устраивают награды в денежных знаках, вручаемые на закрытых торжествах без лишней помпы. Зачем же отказываться от того, что другие считают естественным? Почему бы не извлечь из этого реальные блага? Тем более, что большой спорт превратился в массовое зрелище, развлечение и спрос на спортсменов экстра-класса велик.

Однако быть спортсменом экстра-класса в наши дни очень трудно. Лучшие мировые достижения находятся чуть ли не на пределе возможностей нормального человеческого организма, и, чтобы быть на их уровне, а тем более улучшить их, нужно изыскивать все новые и новые резервы физических и психических сил, неустanno оттачивать технику. Это очень большая, трудоемкая работа. Лассе Эшфин с подлинным знанием дела описывает тренировки норвежской конькобежной элиты, предельно уплотненные и насыщенные большими нагрузками, рассказывает о многочисленных сборах и в летние и в зимние месяцы, когда спортсмены длительное время живут в условиях строжайшего режима.

И в этих постоянных тренировках нарабатывается не только необходимая физическая форма, но и то

особое отношение к ней, которое Эфшин называет «культом тела». Тело всегда должно быть в безукоризненном состоянии. Работы, сердце, легкие, желудок — все это должно работать предельно эффективно и слаженно, как детали хорошо отрегулированной и смазанной машины, постоянно готовой развить максимальные обороты и отдать всю заложенную в ней мощност. Если под нагрузкой участился пульс, повысилось давление крови, затвердели мышцы, появился кашель, значит, в механизме неполадки и надо немедленно принимать меры к их устранению. Все время необходим контроль, всегда и везде надо следить за тем, чтобы сохранялись сила, выносливость, скорость, натренированность. Тело, рассматриваемое как механизм, как машина, выдвигается на первый план и становится главным, пожалуй, единственным предметом внимания спортсмена.

«Они тренируются и утром и вечером», — описывается в романе сбор сильнейших конькобежцев. — График бега тщательно отработан. Ребята буквально прощупывают друг друга, чувствуют, когда приходит спортивная форма или когда что-то не ладится. После каждой тренировки душ и взвешивание. Здесь важен не человек, а тело, тепло тело... Тренировочный лагерь превращается в ритуал, это чертова пляска на пути к успеху: тренировка, еда, сон, снова тренировка и так бесконца». Некоторые из спортсменов женаты, и автор пишет далее: «Обычно вдовы называют женщину, у которой умер муж. В спортивном мире это совсем не так. Здесь вдова — это жена знаменитого спортсмена, который еще иногда и не задумывался о смерти. Конькобежец, входящий в элиту, вынужден многие недели проводить на сборах, а потом часто выезжать на соревнования. Его жена остается одна, предоставленная самой себе... А если муж дома, она все свои заботы посвящает его «супертелу». После тренировок ему нужен отдых, после отдыха предстоит новые тренировки, так что недопустимы никакие домашние неприятности, никакие нервные напряжения. Тело — это хорошо, это главное, разумеется, для тех, у кого именно такое тело. И жена становится механизмом, становится слугой. При этом все говорят ей, что она должна быть довольна судьбой: ведь она жена знаменитости!»

Герои Эфшина, получив школьное образование, нигде больше не учатся. Ни один из них не интересуется литературой, театром, искусством. Они терпеть не могут «политики», никогда даже не проглядывают те газетные странички, где обсуждаются мировые проблемы или внутренние обстановки в их собственной стране. Когда выдается свободный вечер, «звезды» в лучшем случае идут в кино, а то играют в карты или развлекаются в компании, позволяя себе в известных пределах спиртное.

Правда, есть одна сфера, помимо спорта, где эти молодые люди проявляют весьма высокую активность. Но и здесь господствует «культ тела». Это секс. Приведу лишь две сравнительно «безобидные» цитаты. После победы на международных соревнованиях О-П и его товарищ Юхан встречаются с молодыми поклонницами конькобежного спорта.

— У меня пересохло во рту от разговоров. Ваше здоровье, девочки! Хорошо, что вы пошла с нами. Мы грешны, но мы не развратники. Мы предпочитаем победу поражению, девочке пиявству...

— Как душно здесь, — сказала одна из почитательниц, — я задыхаюсь.

— Да, в комнате жарко. Мы слишком тепло одеты. Я предлагаю: сбросим с себя все лишнее! Наиболее стеснительные могут остаться в трусах. Пока. Толь-

ко в трусах, сказав я, все остальное придется тебе снять, дорогая.

— Отлично! Выпьем за наши неприкрытые тела и наши неприкрытые желания. Любовь продает даже миг победы и скрашивает поражение...

Спортсмены тренируются летом в форсированном походе по горам, где много турстов.

«Обычно им удавалось вечером получить на всех комнаты в гостинице или кемпинге. Но случалось, что мест не хватало, и тогда кому-то приходилось стелиться на полу. Тогда особой заслугой считалось найти на ночь знакомую с кроватью. Весь поход был превращен в игру, и за удачные «ходы» насчитывались очки. Учет велся следующим образом: тот, кто первый добирался до места ночевки, получал 1 очко, второму доставалась $\frac{1}{2}$ очка; ночь, проведенная с девочкой, — 1 очко (знакомые в расчет не принимались), добился от нее почти всего, чего хотел, — $\frac{1}{2}$ очка; переночевал с подружкой, которая располагала кроватью, когда сам остался без места, — $\frac{1}{2}$ очка; уговорил повстречавшихся девушек изменить свой туристический маршрут и последовать за конькобежцами — от $\frac{1}{2}$ до 2 очков в зависимости от количества девушек. «Жюри» работало каждое утро за завтраком, и все должны были перед ним отчитываться...»

Автору романа надо было обладать большим гражданским мужеством, чтобы перед лицом сограждан, восхищенных внешним видом своих спортивных идолов, вывернуть их названку и наглядно показать их внутреннее убожество.

Но, читая «Заколдованный круг», не делаешь вывода, что эгоизм и ограниченность изначально определяют будущие спортивные успехи человека. Скорее приходишь к мысли, что эти качества, очевидно, вырабатываются и культивируются в человеке, когда он вступает в «большой спорт» и проходит долгую и трудную дорогу к его вершинам. Однбокость, неполноценность, ущербность «золотых парней» — это не столько их вина, сколько беда. Общая картина развития «элитного спорта» в современной Норвегии, нарисованная Эфшином, убедительно это доказывает.

В конькобежных клубах и обществах существует своя иерархия, своя градация. Верхушку составляют «звезды». Рядом с ними размещаются юниоры, собственные юности и девушки, будущая надежда клуба. Потом идут «прививающиеся» — бегуны, которые из года в год усиленно тренируются, но никогда не поднимаются до призовых мест. В общем-то никто толком не понимает, зачем они занимаются спортом. И, наконец, существует «аквариум» — отделение для детей школьного возраста. Они-то и попадают под красивые параграфы спортивных уставов, где говорится о «официальной культуре для всех». Однако основная цель детских секций состоит не в том, чтобы обеспечить нормальное физическое развитие растущего поколения. Из «аквариума» надо выудить «золотую рыбку», талант, будущую знаменитость. Если же ребенок не имеет «золотой чешуи», то, когда он повзрослеет, его просто выплеснут из «аквариума» и забудут о его существовании.

Официальные ассигнования на спорт весьма скудные, и бюджеты клубов и обществ, особенно на периферии, тратят по всем швам, не хватает на самое элементарное, на самое необходимое. Надо пополнять кассу за счет сборов, привлекала на спортивные мероприятия возможно больше зрителей. Тут уже не ограничивались принципами «массовости», «физкультуры для всех», не обходились без «звезд». А «звезды» стоят дороже, очень дорого и неизвестно, что выгоднее подготовить собственную «звезду» или переманить выдающегося спортсмена из другого клу-

ба. Опять в бухгалтерских книгах расходы превышают доходы. Приходится заимствовать средства из «частного сектора», у предпринимателей, которые используют популярность спорта и спортсменов для рекламы своих товаров. На тренировочных костюмах, на чемоданах и сумках появляется марка фирмы, которая оплачивает этот инвентарь. Казалось бы, это не так много, но назойливые эмблемы фирмы на беговых дорожках, на стадионах, в спортивных залах, где собираются массы «потребителей», делает свое дело и приносит прибыль, оправдывающую затраты меценатов.

Коммерция и спорт. Спорт как доходное предприятие. Спорт как эффективная форма рекламы. Логическое завершение этой цепочки — открытый суперсериализм с его баснословными гонорами «суперспортсменам», завербованным из любительских клубов. Но и в любительском спорте, все более подчиняющемся экономическим интересам промышленных и торговых корпораций, уже господствует иной дух: «В список лучших спортсменов федерации, на которых делают ставку рекламщики, выделяя им повышенный процент вознаграждения, не попал Рагнар. Причины? Он участвовал в демонстрациях против присоединения Норвегии к Общему рынку и подписал протест спортсменов, осуждающий задержание американской авиации во Вьетнаме и Камбодже... Вообще отношения между ребятами испортились. Вся эта инсценировка, все эти сделки за кулисами раздражали их еще больше. Сколько заплатила федерация Юхану за то время, когда он был на тренировках и не получал зарплаты на работе? Сколько получил Тур за рекламу? Вопросов много, но отвечать на них никто не хочет. «Звезды» стали подозрительными и косо смотрят друг на друга. Руководители федерации, пользуясь этим, делают с ними что хотят... А в газетах, как и прежде, улыбки, товарищеские объятия, славащые интервью. Камуфляж, за которым идет большая игра».

В одном из публицистических отступлений, которыми насыщен роман, Эшнин идет дальше — он пишет:

«Колесо истории катится вперед, но его колеса не делают крутых поворотов. Королевский двор претерпев процесс либерализации, он стал, как у нас говорят, более демократичным. Правительство теперь не назначается, а избирается, критика стала более открытой. И все равно у нас еще есть общественная элита, у нас есть придворные, финансовые тузы, директора концернов, священники, офицеры, государственные служащие, ученые, технократы. Они получили образование и занимают высокое положение. Они входят в круг избранных, в закованный круг, где сосредоточена власть... В закованном круге все чувствуют себя друзьями. У них даже общее хобби — спорт или, точнее, спортивные объединения, которые имеют немалую ценность с социальной точки зрения. Есть у них и некоторые средства, которые можно вложить в это дело... Принадлежать к этому кругу чрезвычайно важно. Тогда почти все можно «устроить» с помощью знакомств и связей: удобные должности, всевозможные льготы и отчисления, можно обойти все рогатки, которые устанавливаются многочисленными постановлениями, распоряжениями, инструкциями официальных учреждений. Войти в закованный круг совершенно необходимо и руководителям спорта. Клубы и федерация вынуждены существовать за счет «устроенных» льгот, доходов от лотерей и рекламы. Если руководитель имеет радикальные убеждения, если он просто обыкновенный человек — это не годится. Президент, председатель, руководитель должен проникнуть внутрь круга, иначе его клуб, его общество, его федерация окажется банкротом».

Роман Эшнина многоплановый. Один из его героев — безымянный средний человек, удач которого типичен в эпоху «злитного спорта».

«Сильное, крепкое тело — это благо. Оно создано для того, чтобы производить, напрягаться, преодолевать сопротивление. Но громадное большинство людей в наш моторизованный век становится физически пассивным. Тело превращается в свалку мусора, мучает, как нечистая совесть, как злая боль. Люди предоставляют спорт «звездам», специалистам по части «телесной культуры», а сами «занимаются» им, так сказать, из вторых рук. Какой матч показывают сегодня по телевизору? Садись в кресло и смотри. У всех теперь напряженная работа, денежные и прочие заботы. Когда приходишь домой, хочется расслабиться, и люди делают это слишком буквально. Включают телевизор и смотрят, как занимаются спортом другие...»

«Его пронизывает промозглый холод, будто замерзало само сердце. Он сходит с трамвая, открывает дверь и слышит, как кто-то спрашивает: «Это ты?» Да, да, это он, кто же еще! «Много было работы?» Конечно, а как же еще! Вот он, человек, подобный тысячам других, у себя дома. Квартира из трех комнат, жена, дети. Он еще не пришел в себя после рабочего дня, перестройка происходит постепенно. Потом возникает чувство усталости. Усталость притупляет все мысли: разве это жизнь? Да, нигде, от действительности не денешься, так живет он, так живут другие. В общем-то все у него «о'кэй». На земле немало мест, где люди живут хуже. Разве что — пиццерия, врач говорил о возможной изнеженности, что не способствует хорошему настроению. Вот придумать бы способ прямого впрыскивания питательных веществ в организм, как впрыскивается топливо в цилиндры мотора на «мерседесе» последнего выпуска. Черта с два накопить деньги на такую автомашину! На телевизор, правда, деньги нашлись. Без голубого экрана не обойтись, особенно во время спортивного сезона. А сезон продолжается круглый год...»

— Ну, что вы загораживаете мне телевизор? Разве не видите, что передают репортаж о коньках? Смотрите, как О-П прошел поворот! А теперь он будет давать интервью. Слушайте же!

Он одноклассный человек... Для него ничто уже как будто не имеет смысла. Все только что-то требуют от него. Дома он бывает всегда усталый, изможденный. Все, к чему хотелось бы стремиться, недостижимо, это можно увидеть только по телевизору... Никто не обращает на него внимания, никто ему почти не улыбается: ни начальник отдела на работе, ни жена, ни дети. Вот на экране другое дело. Дикторша дарит лучезарную улыбку и в начале и в конце программы. Государственные деятели обращаются непосредственно к нему. Спортсмены бегают, прыгают, сражаются, отвечают на вопросы — для него. Когда он вечером нажимает кнопку, и изображение на экране сжимается и исчезает, в душу вновь закрадывается промозглый холод. Во все щели вползает одиночество. Тюремщик запер ворота до завтра...»

В середине романа на сцене появляется новая героиня — Нина, молодая женщина со сложной личной судьбой. Она прошла трудный путь от наивного бунтарства к более правильному пониманию процессов, происходящих в капиталистическом обществе. Нина говорит О-П:

«... Понимаешь, спорт — это политика, и ты, выходишь, занимаешься политикой, хочешь ты этого или нет... Спорт в Норвегии представляет собой массовое движение, при помощи которого людям прививается эгоизм и вадлбавляется буржуазное мышление. Согласно этой философии, смысл жизни в том, чтобы любой ценой пробиваться к цели и выигрывать. Вы,

суперспортсмены, становитесь идеалами. С вашей помощью людей заставляют принимать мир таким, как он есть, не думая. Им говорят: посмотрите на О-П! Разве плохо быть таким, как он!..

— Нет, какого черта! Что ты нашла плохого в эгоизме? — возражает Нине О-П. — Если лягушек лишит полового инстинкта, то они вымрут. Если лишит людей эгоизма, то ред людской деградирует.

— У людей есть стимулы к совершенствованию, развитию и самутверждению, которые жидутся на коллективной, а не на индивидуальной, эгоистической основе. Эгоизм превращает большинство людей в неудачников и лишь незначительное меньшинство — в победителей. Если кто-то богат, то остальные бедняки. Эгоизм порождает несправедливость.

— Только не для меня, когда я побеждаю. Такова уж игра, называемая жизнью.

— Такова игра в буржуазном обществе. И ты играешь в нее пока неплохо. Ты пробиваешься, ты вступаешь без зазрения совести другим на ноги, ты фальшиво улыбаешься с экрана телевизора и печатных страниц. По большому счету все это представляет собой солидную политическую силу: хочешь жить, так умей крутиться, умей рваться вперед, умей выигрывать. Дух большого спорта насковз капиталистический».

В дальнейшем герой романа не раз вспомнит и эти и многие другие слова Нины. Он «сошел» на пятое место в элите, претерпеваясь в летние месяцы, готовясь к новому сезону, и, выступая простуженным на крупных соревнованиях, сорвался: его увезли со стадиона на носилках. Это был конец О-П. Вместо него в муках и страданиях вновь появился на свет тот, кто в детстве и ранней юности владел полным именем — Оле Педр Бенитен.

Ему пришлось оставить уютную должность «ассистента», распрощаться с недорогой квартирой, поступить на работу простым рабочим. Оле забыл покровителей, товарищи по конькам, хозяина коммерческого «цирка», пытавшиеся в свое время переманить его в профессионалы. Но жизни, оказывается, не кончается за пределами «злитарного спорта», вдали от «закондового круга». Оле входит в заводскую среду, принимает участие в работе спортивного клуба предприятия, знакомится с прогрессивными представителями профсоюзной организации и социалистически настроенными рабочими. В это время он встречает Юрину, которая, не выдержав «долей» долей, ушла с двумя малышами от мужа-суперспортсмена. Молодые люди обнаруживают много общего во взглядах и решают соединить свою судьбу.

А ближайшим другом Оле теперь становится руководителем профсоюзной организации завода кадровый рабочий Фред. Решающий перелом в мировоззрении Оле произошел, когда в знак солидарности с бастующими рабочими он отказался от предложенной директором завода поездки в родной город Хамар на соревнования, где он мог бы вновь встретиться на дорожке с сильнейшими конькобежцами и почувствовать себя в большом спорте. Администрация уволила за это Оле под благовидным предлогом, но профсоюз добился его восстановления на работе.

«Прошло несколько месяцев. Внешне за этот период не случилось никаких событий. Оле нужно было время, чтобы разобраться в самом себе. Еще были сомнения, точнее, неуверенность. Он довольно много читал по совету Фреда книг по диалектике, истории. Чтобы уметь анализировать, надо много знать... Оле думал не только о политике, но и о спорте. Спорт на производстве может служить не интересам хозяев, а интересам рабочих, сказал Фред. И они стали

составлять планы, как добиться этой цели. Во-первых, заводской клуб должен быть экономически независимым от администрации. Во-вторых, занятия в нем должны проводиться регулярно, а не от случая к случаю. В-третьих, спортивная работа должна быть связана с просветительской, с обсуждением социальных проблем и роли спорта в обществе... Ни Оле, ни Фред не думали, что спорт, взятый изолированно, может стать «социалистическим». Но он может по крайней мере стать «критическим». И начинать надо с конкретных действий на своем заводе...»

На одной из последних страниц романа Эфшин рисует такую символическую сцену:

«Банкет федерации конькобежного спорта после зимнего сезона [на котором в качестве гостя присутствовал Оле... М. Т.] проходил как чествование новой «звезды» — Юхана...»

Недавно Оле прочел в газетах, что рабочие одного завода после успешной «дикой» забастовки преподнесли ее инициатору и руководителю букет цветов. Он разорвал ленту и rozdal букет по преточку своим товарищам по работе и по борьбе, сказав: «Мы идем все вместе, одним путем».

Очередной оратор на банкете федерации после изысканной речи преподнес Юхану цветы и кубок. Юхан поднялся, помахал подарками над головой, налил в кубок пива и сунул туда цветы. Он сказал: «Спасибо» — и сел на свое место. Здесь каждый сам за себя, здесь каждый одиноко».

Мы позвонили из «Юности» Лассе Эфшину в Осло и нашли его в радиологическом центре.

— Ваш роман только что вышел вторым изданием...

— Да. Роман вызвал оживленную дискуссию. Как можно было ожидать, спортивные руководители и часть спортсменов отнеслись к книге отрицательно. Наиболее реакционные органы печати не прочь грубо извратить факты и даже оскорбить меня. Но я получаю много писем, авторы которых поддерживают высказанные мною идеи.

— Как продвигается ваша научная работа? Какие у вас планы на будущее?

— Сейчас я отдаю работе в своей лаборатории значительно больше сил и энергии. Мне хотелось бы как биохимику внести свой вклад в разработку методики лечения злокачественных опухолей. Я сейчас больше уделяю внимания и своей семье. Моя жена тоже много работает, сыну уже пять лет. Станет ли он конькобежцем? Не знаю. Сам я регулярно тренируюсь и сохраняю форму: не хочется совсем бросать спорт...

— А в печати появились сообщения, что вы «повесили коньки на гвоздь»?

— Да, я говорил об этом после декабрьских соревнований на приз Оскара Матисена...

— Железом вам всего наилучшего.

— Спасибо. У меня к вам просьба. Пришлите мне номер «Юности», где будет опубликован рассказ о моей книге. Мне очень приятно, что моя книга вызвала интерес в вашей стране.



ПРИДИТЕ К ЖУКОВУ

Сквозь большие окна, выходящие во двор, не проникал шум улицы Горького. И в просторной мастерской было очень тихо.

Альбина Феликсовна Жукова была грустна и привлеклива.

— Так непривычно не слышать здесь голоса Коленки: «Альбина, где бумага? Альбина!..» Он умел мгновенно вслушивать тишину.

Народный художник СССР Николай Николаевич Жуков — автор широко известных портретов Ленина, великолепных детских рисунков, работ о войне, тонких акварелей — умер недавно, и в мастерской все сохранилось так, как было при нем.

На скамье в углу мастерской лежит огромный, причудливой формы каравай хлеба, извечно добрый знак гостеприимства. Этот каравай и распитое полотенце — подарок жителей деревни Жукова под Пятитгорском, где все носят фамилию Жуковых и куда были приглашены Николай Николаевич и Альбина Феликсовна.

На стеллажах, на столе, на старинном русском ларе (подарок дочери Третьякова) — множество трогательных знаков благодарности от самых разных людей из самых разных городов и стран.

И, конечно, главное в мастерской — работы художника: сотни эскизов, карандашных зарисовок,



набросков, портретов, акварелей... На одном из столов — альбомы репродукций: иллюстрации к книгам, наброски, сделанные на Нюрнбергском процессе, плакаты, листовки военных лет... И среди всех работ — последняя: венок Жуковых. Вообще Николай Николаевич не испытывал недостатка в моделях для детских рисунков: свои ребята, а в последние годы — внуки.

О художнике говорили, что он успевает сделать за один день столько, сколько по силам обычному человеку за три-четыре дня. Он мало спал, и день его никогда не знал пустот. Он не только без усталости рисовал, но еще и писал. И теперь целую полку занимают толстые и тонкие записные книжки: дневниковые записи, рассказы, очерки. Лишь небольшая часть их была опубликована при жизни художника.

Н. Н. Жуков почти не писал самому, он говорил, что пока у него нет времени, «вот когда буду ста-

рым, тогда...». Художник испытывал потребность фиксировать в своих рисунках жизнь ежeminутно; в сущности, и его дневниковые записи — взволнованный рассказ о каждом прожитом дне.

Н. Н. Жуков совсем немного не дождал до своего юбилея: почти 30 лет возглавлял он Студию военных художников имени Грекова.

Несколько полок в мастерской заполнено внушительными папками с письмами художнику и книгами отзывов с многочисленных выставок. Абсолютное большинство этих искренних признаний заканчивается словами: «Спасибо Вам, дорогой Николай Николаевич, за Ваше доброе искусство!»

Недавно было принято решение Советского правительства: сделать мастерскую народного художника СССР Н. Н. Жукова мемориальной при Студии военных художников имени Грекова.

Наверху: последняя работа Н. Н. Жукова.

Г. ГРИНЕВА

ТРЕТЬИ БОГИ

Иногда мне звонят незако-
мые люди, и происходит
диалог вроде следующего:
— Говорят из Издательства
художественной литературы. Мы
слышали, что вы выручаете при
поисках недостающей биографиче-
ской подробности. У нас выходит
книга, где упоминается писатель
Александр Рославлев, но мы не
можем сообщить в примечаниях,
когда и при каких обстоятельствах
закончилась его жизнь.

— Не кладите трубку. Через ми-
нуту я смогу сказать, имеется ли
такая запись... Да, кое-что есть...
Александр Степанович Рославлев,
член большевистской партии, умер
от брюшного тифа 2 ноября
1920 года в возрасте тридцати
восьми лет. Только не могу уточ-
нить, где — в Екатеринодаре или
Краснодаре.

— Простите, но ведь это один и
тот же город.

— Разумеется. И именно в год
смерти Рославлева он был пере-
именован. Но для точности в те-
ксте публикуемой вами справки
проверьте дату переименования
Екатеринодара, и если таковое
произошло до второго ноября, то
пишите, что Рославлев умер в
Краснодаре. А то...

— Что «а то»?

— А то можете дописаться до
того, до чего одна газета уже до-
писалась, сообщив, что Горький ро-
дился в Горьком.

Иным, даже вполне интеллигент-
ным людям скрупулезная точность
представляется излишней в изло-
жении сведений даже о Пушкине,
а не только о Рославлеве. Инже-
нер придет в ужас от малейшей
ошибки в расчете крепления. Про-
визор может ответить по суду за
несоблюдение дозы склянодей-
ствующего средства. Астроном ис-
числит, что отклонение пущенного
по прямой тела на тысячную долю
сантиметра при первом километре
пути приведет к отклонению на
тысячи километров уже на по-
лупути к ближайшей звезде. А вот
хронология якобы не нуждается в
точности.

Нередко приходится сталкивать-
ся и с таким представлением, что,
мол, прошлое интересно только
особо крупными своими фигурами,
а поднимать из забвения «дня ми-
норес» («малых» или «вторых
богов»), как называли римляне ме-
нее влиятельных небожителей) —
трудное дело.

Мне же кажется, что полезно
помнить даже и «третьих богов».
Вот, скажем, молодой Чехов не-
однократно упоминает в своих
рассказах какого-то психиатра
Чижка, но даже старейшие москви-
ты, которые «все знают», не объ-
яснят вам, что это за Чиж, неод-
нократно привлекавший внимание
великого писателя. Попутно ска-
жу, что Владимир Федорович Чиж
насегда стигнул из столицы, сме-
нив ее на уездный Юрьев, круп-
ным профессором университета
которого был многие годы. А
гамошине жителя, читая Че-
хова и зная Чижка, даже гор-
дятся им, не очень соображая, что
это и есть «тот самый чехов-
ский Чиж».

Глядяровский не в меньшей мере,
чем самыми эффективными из
своих репортерских подвигам, гор-
дился тем, что помог гоголевцам
уточнить на один сутки дату рож-
дения автора «Ревизора». Уточня-
лись даты рождения и М. Горь-
кого (до революции считался
1869-й, но критик Львов-Рогачев-
ский выяснил, что истинная да-
та — 1868-й) и Маяковского (те-
перь установлен 1893 год, ранее
сам поэт считал 1894-й).

Если о людях столь недавних и
столь знаменитых, как Маяков-
ский, получают публичное распро-
странение ошибочные сведения,
сколько ж таких ошибок и ма-
леньких (но и не маленьких) тайн
осталось от отдаленного прошлого
в биографиях «вторых» и тем бо-
лее «третьих богов»!

Много путаницы бывает при
уточнении места рождения челове-
ка, если он родился в небольшом
городе. Административное деле-
ние неоднократно перекраивалось.
И если Чапаев перестал считаться
«саратовским», а стал «чуваш-

Из коллекции
В. К. Покров-
ского.
На этой фото-
графии
30-х годов
прошлого века
юноша
А. В. Амфи-
театров
(справа) —
в свое время
известный
фельетонист,
автор многих
романов, —
и муж
его сестры
Евгений
Вячеславович
Пассен —
в ту пору
сотрудник
легкомыс-
ленного
«Вудильника»,
а в зрелости
мученик борьбы
за академи-
ческую
свободу;
будучи в
1905 году
ректором
Юрьевского
университета,
он допустил
девушек к слу-
шанию лекций
и разрешил
студенческие
сходки,
за что был
судим
царским
правительством;
процесс длился
семь лет — до
смерти
обвиняемого
в 1912 году.



ским» потому, что найдены новые данные о подлинном месте его рождения, то, например, А. Н. Толстой был «саратовский», а стал «саратовским» не из-за того, что нашлись новые данные, а просто потому, что родной его Николаевск (Пугачев) перешел из Самарской губернии в Саратовскую область.

А есть и такие, которые родились «нигде». То есть невозможно указать никакого определенного пункта. Таковы футурист Василий Каменский, родившийся на камском пароходе, и актер Ваграм Папазян, родившийся на пароходе, шедшем в Константинополь.

А между тем очень хорошо, когда в той или иной области, крае, республике считают человека «своим», особо чтут его память, собирают о нем материалы. Весь мир интересуется Львом Толстым, но Тульщина — особенно. Псковщина всегда особо внимательна к каждой детали, связанной с Пушкиным, здесь долго жившим и похороненным.

Но я лично считаю, что та область (край), на чьей территории началась жизнь известного человека, должна считать его «своим», даже если в ней он не совершил ничего значительного. Когда однажды из Винницы (на территории этой области родился Некрасов) мне довольно раздраженно отвечали, что я, мол, напрасно «навязываю» им это поэта, а также без ехидства им написал, что

их позиция особенно потрясла бы память о Ломоносове: хотя он ушел из родных мест еще юнойшей, им справедливо гордятся в Архангельске.

И следующий вопрос: кого же и за что надо помнить?

Я бы ответил так: в первую очередь хороших людей, и чем больше сделал человек хорошего, тем более следует его помнить. Но знать надо и дурных, если они сыграли хотя отрицательную, но заметную в том или ином отношении роль. Разве забыли мы имя Дантеса, какое бы негодование ни возбуждало в нас это роковое имя?

Попутно скажу, что мы как-то недооцениваем память о практических деятелях. Бывает, идешь по улице и видишь мемориальную доску, возмещающую, что в этом доме жила такой-то кисть, хотя писатель-то этот был не особо значительным. А вот о том, что тут же обитал, скажем, известный инженер или директор громадного завода, — не вспоминают.

Если ты собираешь биографические факты, работа поставит перед тобой и еще другие вопросы.

То запутываешься среди А. И. Введенских — не менее десятка носителей этой фамилии можно с такими инициалами будут проситься в твой список, включая одного митрополита, когда-то противопоставлявшего себя всей официальной церкви.

То встанут перед тобой и будут все множиться люди двух, а то и трех эшелонов, в каждой из которых они имеют основание быть отмеченными. К классическому примеру химика-композитора Бородина можно прибавить астронома Глазенапа, который был и авторитетным пчеловодом, автора трудов по баллистике Б. Смирнского, с примечаниями которого выходили книги стихов Венивитинова и рассказов Надежды Дуровой. А тенор Маринского театра А. Александрович — это то же лицо, что автор книги по зоологии А. Покровский.

Есть и довольно многочисленная группа людей, о которых мы хотели бы иметь представление, хотя сами они не совершили ничего значительного. Это, так сказать, люди пассивной известности, поставленные в необычные обстоятельства. Таков, например, занимавший трон лишь в раннем младенчестве император Иван Антонович, вокруг которого плелась сложная интрига в течение всей его жизни, проведенной в заточении.

Многие годы я посвятил биобиблиографии. Мне идет уже восьмой десяток, но мой картотека по-прежнему крайне неполна, хотя каждый день обогащается чем-нибудь новым.

Владимир
ПОКРОВСКИЙ

В ТРУБЕ— КАК В СКАЗКЕ

— **П**рислушайтесь, вот он идет, — сказал конструктор Юрий Цимблер.

В огромной трубе, которая, казалось, упирается прямо в горизонт, я услышал глухой шелест, но он быстро замер вдали. Не верилось, что это был звук прошедшего на полной скорости многотонного грузового состава.

Общезвестно, что если отполировать внутреннюю поверхность

трубы, то по ней под давлением воздуха могут легко скользить различные цилиндры. Пневмомосты упоминаются еще в романах Балзакка. Но то, что удалось создать инженерам в одном из каменных карьеров в грузинском поселке Шулавери, даже специалистам поначалу казалось чудом. По обыкновенной (не полированной внутри) трубе каждые несколько минут проходил — без двигателя! — состав весом в 25 тонн, груженный песком и щебнем. Для его движения на горизонтальном участке пути требуется лишь давление воздуха в... семь сотых атмосферы!

Удивительно? Только на первый взгляд. За всем этим скрывается оригинальное инженерное решение. Исследователи учли, что главным препятствием при транспортировке сыпучих грузов по трубе служит непреложный закон трения. Твердые частицы быстро разрушают и без того дорогостоя-

щую «полированную дорогу». А что, если поставить цилиндры на колеса? Эта идея, родившаяся у инженеров московского специального конструкторского бюро «Транснфтеавтоматика», дала удивительный эффект. Она и легла в основу создания первой в нашей стране промышленной пневмотрассы.

Преимущество подобных дорог очевидно. Трубопроводному транспорту не страшны ни дожди, ни выгои, его путь может проходить по дну рек и озер, по горам и болотам (недаром разработками московских ученых заинтересовались нефтяники Тюмени). Так как колеса пневмозова одеты в резину, состав в трубе движется абсолютно бесшумно — значит, линии в черте города не надо закапывать глубоко в землю. Кроме того, пневмотранспорт совершенно не загрязняет окружающую среду. Даже наоборот — по трассе, которая соединит, к примеру, город с

зоной отдыха, будет в одном направлении идти задымленный уличный воздух, а возвращаться свежий, хранящий еще запахи трав и леса.

Надо сказать, что советскую лицензию на систему пневмотранспорта, предназначенного для доставки в контейнерах различных сыпучих грузов и бытовых отходов, уже купила японская фирма «Сумитомо седзи».

Следующий этап работы конструкторов трубопроводного транспорта — создание комфортабельных пассажирских пневмоэкспрессов. В СКБ «Транснефтеавтоматика» я перелистал толстую папку

с результатами разработок технико-экономического обоснования строительства подобных линий. Ученые уже провели кропотливые исследования на предполагаемом первом участке подмосковной пневмотрассы — от железнодорожной платформы «Малино» до Зеленограда. «Эксплуатировался» состав из 10 вагонов, вмещающих по 125 человек. Оказалось, что пассажирские пневмоэкспрессы по своим экономическим показателям и пропускной способности превосходят другие виды городского общественного транспорта.

В этом работе уже участвуют и

специалисты институтов Генерального лава столицы и «Мосинжпроект». В совместных усилиях вырисовываются контуры будущей уникальной дороги, конструкция пневмопоезда. Так, на трассе предполагается построить четыре станции с двусторонними пассажирскими платформами. Герметичные цельнометаллические вагоны экспресса оборудуют кондиционерами. Расчетная скорость такого поезда — от 40 до 90 километров в час. Он будет незаметным на трассе «малого метро», радиусы которого съезжат центр Москвы с зонами отдыха.

А. РАЗИН

СЦЕНА, КОТОРУЮ Я ОСВЕЩАЮ

Вот уже который месяц я со страхом жду этого момента: сейчас я нажму кнопку или поверну какой-нибудь рычаг, и все пометит к черту: погаснет свет, или, наоборот, здание вспыхнет, запылает под аккумуляцией пожарных sireн... Одасения эти, наверное, не скоро покинут меня, хотя до сих пор все идет нормально, и когда раздвигается занавес, мне удается вовремя высветить появление Электры или выход Ореста. Но какой же рок закинул меня — журналиста, театрального критика — сюда, к пульту осветителя сцены?

Эту улочку в Тбилиси обычно кличут по старинке: Собачий переулок. Десять лет назад я впервые поднялся по лестнице расположенной здесь Дома культуры и когда, казалось бы, уперся под самую крышу и уже решил вернуться, так и не выполнив редакционного задания, обнаружил лестницу типа пожарной, ведущую на чердак. Здесь в закутке проводила свои первые репетиции студия пантомимы, организованная

Амираном Шаликашвили — молодым актером Театра музкомедии имени В. Абашидзе.

И уже с того первого дня знакомства я стал служить этой студии не только своим пером, но и участвуя все эти годы в поисках помещения для репетиций и в поисках средств, чтобы можно было приобрести костюмы, музыкальную аппаратуру, напечатать афиши...

Наконец студия пантомимы была преобразована в профессиональный театр при Грузинской государственной филармонии (теперь Шаликашвили репетирует уже не на чердаке, а... в подвале

Дома железнодорожников). Первый спектакль — «Мечта и реальность» — вобрал в себя новеллы различного звучания: лирические, драматические, юмористические. У грузинских мимов уже вырабатывается собственный стиль исполнения. Вместо мягких линий и плавных переходов традиционной европейской пантомимы у нас углы, треугольники, резкие переходы от неподвижности к движению. В древних храмах у стен с фресковой живописью, в музеях у картин Нико Пиромсани порой прохорят репетиции театра.

Программой работой театра стала сценическая интерпретация стихотворения Галактиона Табидзе «Могильщик». Выдающийся французский мим и режиссер Жан-Луи Барро сказал однажды, что секрет трагической пантомимы сегодня утерян. Так вот одна из главных линий нашего театра — именно поиски пантомимы трагической. Вслед за «Могильщиком» началась подготовка спектакля по «Электре» Еврипида. Премьера «Электры» состоялась прошлым летом. В тот день актрисе Кире Мебуке — нашей Электре — исполнился двадцать один год. А средний возраст актеров труппы — двадцать лет.

Эти строки я пишу в Москве на исходе длительного турне театра по пятидесяти городам России. Все эти месяцы я работал над пантомимическим вариантом пьесы Чапека «Белая болезнь» — ближайшей постановки театра. Но, простите, раздвинулся занавес — надо высветить появление Электры...

Ираклий

ХИМШАШВИЛИ



На сцене Амиран Шаликашвили.



Виктор
ДЕНИСОВ



Всякий писатель старается проложить свой особый, неповторимый путь в литературе... За многие века явилось великое множество родоначальников новых литературных форм, течений, направлений. Но никакие литературные ухищрения не спасали их от запрограммированного раз и навсегда описания заурядных явлений, занимающих тем не менее важное место в жизни людей. И если в начале повествования юноша надевал парадное платье и, почистив перышки, нервно вылетал с цветами из родительского гнезда (пещеры, хижины, княжеского дворца или кооперативной квартиры), читателю становилось ясно, что он шел объясняться в любви. А раз сразу ясно, значит, нечитабельно.

Так и кочуют из повести в повесть устоявшиеся железобетонные конструкции.

Где же выход из тупика?

Выход есть. Нужен поворот. Чутьочку фантазии — и обычное, заурядное явление вдруг ошеломляет читателя, щедро возносит его на пьедестал первооткрывателя.

ПОВОРОТ № 1:

А если это любовь?

Неукротимое чувство мести клочкотало в душе Венки Ноева, известного в известных кругах под кличкой Ковчег. Источником непреходящего чувства была легкомысленная девица



ПОЗОРНЫЕ ПОВОРОТЫ

(Пособие для молодых
литераторов)



Рисунок
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

Верка Фанеркина, которая, как нарочно, маячила перед глазами и кокетливо улыбалась.

— Изменщица! — бужуеал внутренний голос Венкиной души. — На кого променяла! На этого сляняного дистрофика, с которым даже Хромой Бизон никогда не здороуается за руку! Ну, нет! Ты меня запомнишь, двуличная! Убивать таких мало...

— Да, убивать! — решительно и зло прошептал Ноев-Ковчег, прицелившись в светлый Веркин профиль...

— Это не метод! — вдруг прозвучал суровый мужской голос и очень серьезно добавил: — Сдать оружие — и вон отсюда!

Растерявшийся Ковчег бросил рогатку на учительский стол и обреченно выскользнул в полуоткрытую дверь класса...

«Опять родители вызовут», — тоскливо подумал он.

ПОВОРОТ № 2:

Самый счастливей день

Не успев я скворцнуть галопи, как протонерей Федор сразу изл меня за рога. Видямо, был предупрежден о цели моего визита.

— Вера поможет найти тебе счастье! — заргедел отец Федор. — Вера и горы с места сдвинет! Вера

спасает! Вера животворит! Веру переменить — не рубашку переодеть! Ее нужно по всей жизни факелом пронести! Готов ли ты на такой подвиг?

— Воистину готов, — смиренно ответил я и не соврал.

— Ну, черт с тобой, — сказал отец Федор, — благословляю. Женись на моей Верке, и чтобы духу твоему...

Вера стояла в дверях и загадочно улыбалась.

ПОВОРОТ № 3:

Во вторник вечером...

Следователь по особо важным делам, капитан милиции Сергей Воропаев осторожно поднимался по ступенькам лестничной клетки. На все управление славился он неслышной походкой и сейчас с радостью сознавал, что именно она обеспечит ему внезапность появления.

В полумраке площадки четвертого этажа Сергей привычно нащупал в двери замочную скважину и бесшумно вставил в нее ключ, предварительно сунув руку в задний карман брюк.

Раздался чуть слышный щелчок, дверь без скрипа отворилась. Одновременно капитан поймал себя на мысли, что не был в этой квартире с тех пор, как закончил следствие по делу валютчика и похитителя музейных картин Вано Гогиа.

«Крепкий, однако, был орешек», — незлобно отметил капитан, без суеты прикрывая дверь. Правая рука его по-прежнему покоилась в заднем кармане брюк. Затемненная квартира встретила Воропаева тревожной тишиной.

Внезапно яркий свет озарил прихожую, и дребезжащий, старушечий голос удовлетворенно произнес:

— Попадется, голубчик! Молод ты еще меня, старую, обманывать.

— Здравствуйте, мама, — смущился капитан, — с днем рождения вас... — И вынул из заднего кармана футляр с золотыми сережками.

Громкая трель звонка возвестила о прибытии первых гостей.

Все вышеизложенное — лишь образцы поворотов, с помощью которых можно завуалировать любые пустяки, необходимые в добротной повести. Повышение уровня читабельности в ваших руках. Желаем успехов, и... осторожнее на поворотах!

Мирмиллис СТЕЙГА

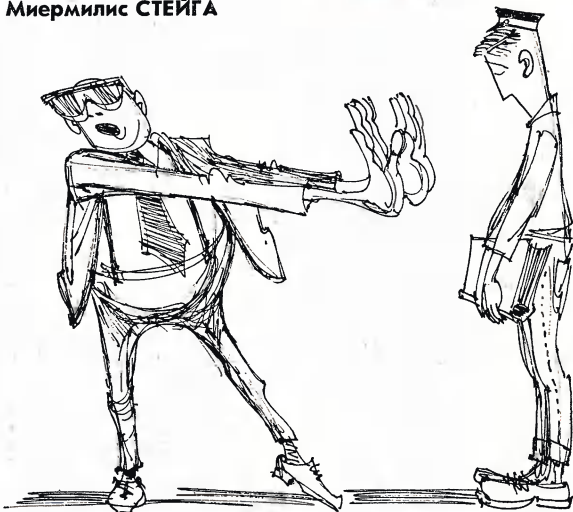


Рисунок И. БРОННИКОВА.

Чтоб не подумали...

Дядюшка Имант настойчиво советовал мне поступить в институт, которому он посвятил тридцать лет своей жизни.

— Знаю, голова на плечах у тебя есть, — сказал он, — а все остальное приложится. Учи, все преподаватели — мои друзья. Сдай только вступительные экзамены и можешь считать, что диплом у тебя в кармане.

Дядюшка убедил меня, и я поступил.

Накануне первой экзаменационной сессии он напутствовал меня:

— Помни, твой дядя — уважаемый человек в институте. Готовься старательно! Твой позор — это мой позор!

И я старался.

Первым был экзамен по математике. Я ответил почти на все вопросы и решил довольно сложную задачу. Задумчиво почерскал переносицу, доцент нахмурился:

— Молодой человек, я мог бы со спокойной совестью поставить вам четверку. Но близкому родственнику нашего высокопочтенного коллеги следует учиться только на

пяттерку. Идите и отшлифуйте свой знания!

— Ответали вы блестяще! — восторженно воскликнул физик. — Однако до сих пор почти никто не сдавал мне экзамен с первого захода. А вы племянник нашего дорогого Иманта Груздзия. Что могут подумать люди? Приходите еще раз недельки через две.

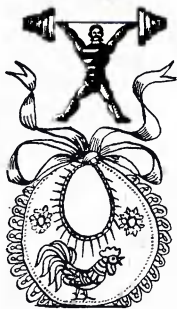
В полном отчаянии я пришел к дядюшке Иманту.

— Что ты, что ты! — замахал он руками. — В своем ли ты уме? Провалился на всех экзаменах и хочешь, чтоб родной дядя своей рукой поставил тебе положительную оценку! Да меня же за это...

— Гм, да, — укоряюще покачал головой декан, — не будь вы родственником Груздзия, я бы мог, пожалуй, отсрочить на несколько недель пересдачу экзаменов. Но в данном случае неприятности мне гарантированы...

И он подписал приказ об исключении меня из института за неуспеваемость.

Перевел с латышского
Ц. МЕЛАМЕД



Каков вопрос~



~таков ответ

Э. ФЕЙЗУЛЛАЕВ

Из жизни замечательных людей

— Вот вы, девушка, хотите взять Петю замуж, говорите, что любите его, но только я знаю, какой за ним уход нужен. Он спать должен ложиться в десять часов, будить его надо в восемь утра. А ночью не дай бог! Шум какой-нибудь, и он проснется, или, еще хуже, он спать будет, а вы свет зажжете — это для него смерти! А есть он может только не очень сильно поджаренное, в суп ему нужен укроп и соли совсем немного, а по утрам обязательно яичко всмятку (две минуты варить надо), на ночь — стакан молока, соки, чтобы витаминов достаточно получил... И следить надо, чтобы тепло он одевался, иначе простудится и заболеет, чтобы обувь не жала, а то мозоль натрет, чтобы тяжести не таскал, а то переутомится, и чтобы никогда сырой воды не пил, а то в больницу попадет... И смотрите, чтобы руки мыл перед едой, и чтобы не нервничал, и чтобы в носу не ковырял, и чтобы...

— А вы, простите, сами-то кто? Кем ему приходится?

— Я!.. Я Петенькин тренер. Ведь он у нас чемпион города по штанге.

г. Вану.

Александр В-ус, г. Волгоград

Дорогая Галка!

Мне уже 19 лет, но до сих пор никто не обращает на меня должного внимания. Я даже усы отпустил и пользуюсь одеколоном «Русский лес», но и это не помогает. Посоветуй, что делать.

ОТВЕТ:

Дорогой Саша!

Покрась усы в малиновый цвет, одеколон замени нашатырным спиртом, и все сразу на тебя обратят должное внимание.

Галина Пе-ц, г. Благовещенск

Дорогая тетка!

У меня веснушки. Одному мальчику, который мне нравится, они нравятся, а другому, который мне тоже нравится, они не нравятся. Как мне быть? Выводить веснушки или нет?

ОТВЕТ:

Дорогая тетка!

Выведи веснушки на той половине лица, которая нравится тому мальчику, которому веснушки не нравятся, а на той половине, которая нравится тому, которому веснушки нравятся, можно оставить как есть.

Алексей К-ев, г. Каражал
Милая Галочка!

Что мне делать? Ты с каждым днем нравишься мне все больше и больше. Я даже пробовал не

читать журнал «Юность», но и это не помогло. Еще раз спрашиваю: что мне делать?

ОТВЕТ:

Милый Лешечка!

Попробуй теперь не почитать 16-ю полосу «Литературной газеты», может быть, тебе понравится Евгений Сазонов.

Вера М-ва, г. Саратов

Уважаемая редакция!

Я очень люблю стихи Сергея Есенина. Но одни говорят, что у него было 5 жен, а другие — 7. Помогите мне разобраться в этом вопросе. Жду ответа.

ОТВЕТ:

Уважаемая Вера!

Ты все перепутала. Не семь жен, а семь невест. И не у Сергея Есенина, а у ефрейтора Збруева. В остальном все верно.

Таня К-ва, г. Печора

Дорогая Галинка!

Мне очень хочется узнать, бывает ли любовь с первого взгляда. В нашем классе все разделилось на две равные части: одна считает, что есть, другая — что нет. Кто прав?

ОТВЕТ:

Дорогая Танюшка!

Вопрос сложный. Его можно решить только перетягиванием каната.

Александр ИВАНОВ

ПАРОДИИ

Хлопцы

и

шекспиры

Не надо, хлопцы, ждать шекспиров,
Шекспиры больше не придут.
Берите цирнули, секстры,
Чините перья — и за труд...
...Про Дездемону и Отелло
С Фуйфайной ватной на плече.

(Михаил ГОДЕНКО)

Не надо, хлопцы, нам шекспир-

ров,

Они мой вызывают гнев.

Не надо гнева, кумиров,

Ни просто «гениев», ни «евг».

Неужто не найдем поэта,
Не воспитаем молодца,
Чтоб сочинил он про Гамлета
И тень евоного отца!

Да мы, уж колья такое дело,
Не хуже тех, что в старию.
И мы напишем, как Отелло
Зазря прихлопнуло жеву!

Все эти творческие муки
В двадцатом веке не с руки.
Все пишут нынче! Ноги в руки,
Тоши секиры и секи!

Вот как навалимся всем миром,
Нам одиночки не нужны!
И ставем все одним Шекспиром.
Как говорится, все равны!

Бег внутри

Я славлю — посреди созвездий
в последних числах сентября —
бег по земле, и бег на месте,
и даже бег внутри себя,
(Лев СМЕРНОВ «Ода бегу»).

Поэт сидит, поэт лежит,
но это ничего не значит,
внутри поэта все бежит,
и как же может быть иначе?..

Бегут соленые грибки,
бежит, гортань лаская, водка,
за ней, естественно, селедка,
затем — булфон и пирожки.

Потом бежит бифштекс
с яйцом,
бежит компот по пищеводу,
а я с ликующим лицом
бегу слагать о беге оду.
Бежит еда в последний путь,
рифмуясь, булькая, играя,
не замедляю бег пера...
Глядишь, и выйдет что-нибудь.

ОНИ НАЧИНАЛИ В «ЮНОСТИ»

...Инженер по глубокому бурению Владимир Павлинов [р. 1933], стихи которого сегодня публикуются на стр. 87, пять лет работал в Каракумах на строительстве газопровода. Впервые был напечатан в журнале «Юность» в № 5 за 1956 год.

Открываем «Юность»... На нас смотрит лицо юноши, а под фотографией — первое печатное стихотворение «Книги и дороги». «Молодой поэт, комсомолец, студент Московского нефтяного института Владимир Павлинов, — читаем во вступительной заметке, — работал на Алтае... Стихи В. Павлинова печатаются впервые»...

Подождите, книги, до зимы: я к зиме вернусь из Колымы. Если поборону да погляжу, я и сам спою или спаяну...

Сегодня он автор поэтических сборников «Обществен» [совместно с другими молодыми поэтами]. Изд-во «Молодая гвардия», 1962]; «Следы» [«Молодая гвардия», 1965]; «Лицо» [«Советский писатель», 1967].

Олег Вуколов [р. 1933] окончил художественный институт имени Репина в Ленинграде, участник республиканских, общесоюзных и зарубежных выставок. Член Комиссии по работе с молодыми авторами Союза художников СССР. Первая персональная выставка О. Вуколова состоялась в редакции журнала «Юность» в 1971 году.

Картина «Новый год», выставленная тогда на стендах «Юности», привлекла позицию доброго радушия, выраженного и светлым колоритом и атмосферой предвкушения праздника, общения с друзьями...

Сегодня эта и некоторые другие картины воспроизводятся на цветной вкладке.



В НОМЕРЕ

ПИСЬМО АПРЕЛЯ

Марина КАСИМОВА. Меня приняли в комсомол!

2

Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ. Ваш главный жизненный ориентир — первый секретарь ЦК ВЛКСМ отвечает Марине Касимовой)

3

ПРОЗА

Анатолий АЛЕКСИН. Позавчера и послезавтра. Повесть

9

Борис ВАСИЛЬЕВ. В списках не значился. Роман. Окончание

29

ПОЭЗИЯ

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Мотив. «Все хочу я увидеть...». Альенде. Барселонский рынок. Две песни моего друга. «Надо ж, почувдилось...». «Все начинается с любви...». Баллада о телефонных звонках

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

5 А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
28 В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
67 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
67 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
75 К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
85 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Вадим ШЕФНЕР. Венчанье. Счастье. Размышление. Бочка. Зарытый канал. Иносказание. Обычный сон

Михаил СОСЕНКОВ. «Мои поля лесами огорожены...». Сестра. «Нюлем детство все прокатится...»

Владимир БЕСПАЛЬКО. «Уже желтеет роща изнутри...». «Не поминаю ликом — лишь добром...»

Игорь ХАЛУПСКИЙ. Прыжок. В юности. «Если бы узнало солнце это...»

Давид САМОЙЛОВ. Купальщица. Рассвет. «Вот в багровой листве и лазури...». «Березы, осины да елки...». «Там дуб в богатырские трубы...». Солдат и Марта

Алексей БАДАЕВ. «Когда опустеют поля, и повянут листья...». Дело наездника — выбрать себе скануна...». Бурятское седло. Перевел с бурятского Ю. Ряшенцев

Владимир ПАВЛИНОВ. Маяк. Дух войны. Проводы капитана

Л. Вильчек. «Хочешь жить — брось впе-ред!»

Ал. МИХАЙЛОВ. Остановим карусели! (Еще раз о песне)

Иван КУПЦОВ. Оптимистическая муза. (К нашей вкладке)

Круг чтения. Маленькие рецензии и аннотации

Янов КОЗЛОВСКИЙ. Поэт со своею посадкой в седле

Н. КОЖЕВНИКОВА. Комсорт

Ада БАСКИНА. Ожидание. (Я+Я—Семья)

Лев КОКИН. Запись всего

М. ТЕПЛОВ. Лассе Эфшин и его «Занолдованный круг»

Г. ГРИНЕВА. Придите к Жукову

Владимир ПОКРОВСКИЙ. Третьи боги

А. РАЗИН. В трубе — как в сказке

Ираклий ХИМШИАШВИЛИ. Сцена, которую я освещаю

Виктор ДЕНИСОВ. Озорные повороты

Миремиле СТЕЙГА. Чтоб не подумали... Перевел с латышского Ц. Меламед

Э. ФЕЙЗУЛЛАЕВ. Из жизни замечательных людей

Каков вопрос — таков ответ

Александр ИВАНОВ. Пародии

86

87

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

71

Технический редактор
Л. К. Зябкина.

76

1-я и 4-я стр. обложки
работы художников
Н. БАВНА, И. ОБАСАПОВА
и В. БЛАДЫКИНА.

81

Адрес редакции:
101324, ГСП, Москва, К-6,
Улица Горького, № 32/1.
92 Телефон редакции: 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

99

104 Сдано в набор 25/II 1974 г.
А 07383.
105 Подп. к печ. 13/III 1974 г.
Формат 84×108^{1/4}.
Объем 12,18 усл. печ. л.
107 17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
108 Изд. № 721. Заказ № 1728.

109

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
110 125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

111

КРИТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

НАУКА И ТЕХНИКА СПОРТ

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

